

ЛЮДМИЛА ШАРГА

МНЕ ВЫПАЛ САД,

Стихотворения, страницы из дневника

Издательский дом Дмитрия Бурого
Киев, 2019

УДК
ББК
Ш

Шарга Людмила
Мне выпал сад / Стихотворения, страницы из дневника.
- К.: Издательский дом Дмитрия Бурого, 2019. - 130 с.

ISBN

В книгу «Мне выпал сад» вошло несколько стихотворных циклов и фрагменты из дневника автора. Книга адресована любителям поэзии, прежде всего, и широкому кругу читателей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Первое воспоминание о здешнем мире: сад, высокая трава, ветер.

И только потом – дом, синие наличники на окнах, широкие некрашенные половицы, восковые, прохладные, и на домотканом половике солнечный луч.

Пространство, именуемое садом, делилось узенькой тропинкой на сад вишнёвый и на сад яблоневый.

Впоследствии мне приходилось жить в разных местах, но вид из окна всегда был как-то связан с садом, и это при том, что своего клочка земли, где можно было бы воссоздать первое детское воспоминание, у меня нет.

А сад со мной на протяжении всей жизни, и возделываю я его на страницах рукописей, многие из которых, к счастью, стали книгами.

Каждый возделывает свой сад, создавая свой Эдем, свой Ирий, как и подобает творению, созданному по образу и подобию Творца.

Кому-то суждено посадить и вырастить фруктовые деревья, кому-то собрать урожай.

Кому-то – воплотить сад в живописи, в музыке, в стихах, прозе...

Сад нельзя вырастить только лишь по желанию, или как мановению волшебной палочки, его надо выстрадать. Он должен стать судьбой, выпасть.

Мне выпал.

Главное дерево моего сада – яблоня, конечно же.

Будет ли тебе уютно в моём саду, дорогой читатель?

Не знаю.

Во всяком случае, надеюсь на это.

Не удивляйся, если одна из садовых тропинок приведёт тебя к морю, другая – в город на берегу моря, а третья – на берег реки и в лес.

Всё это умещается в моём саду.

Всё это и есть мой сад.

И может стать твоим.

С пожеланием добрых тропинок и встреч, автор.

ПОТАЁННАЯ ДВЕРЬ

У Кинга – потаённое окно и потаённый сад.

В моём дворе – потаённая дверь.

Её практически невозможно разглядеть, но это и не нужно – я знаю её всю – наизусть – до самых маленьких трещинок в разошедшей от времени древесине.

В какие миры она ведёт?

Лишь догадываюсь.

По осени снилось, что из двери выходили люди в странных одеждах.

Жду, вдруг сон повторится, и из неё выйдет кто-то знакомый.

Или я сама.

– Проходной двор, – ворчит кто-то невидимый. – Вот раньше было тихо и спокойно, а теперь что...

– Что? – переспрашиваю, удивлённая, неужели этот невидимый видит, как открывается потаённая дверь. Неужели?

– Ходят и ходят днями и ночами. Кто, к кому – неизвестно.

– А как отсюда кто-то выходит, вы видели?

– Нет. Погоди-ка... Тут что, дверь?

– Она не открывается, – облегчённо вздыхаю. – Она уже давно не открывается.

– И слава богу! А то ещё и отсюда начнут ходить, и сюда. Что за люди! Ходят и ходят,

ходят и ходят. Кто, к кому, от кого – непонятно.
Вот раньше был двор...

– Раньше, это когда?

– Сто лет назад.

Утренний двор пуст.

Недопитая чашка кофе, приоткрытое кухонное
окно, из которого видна стена, увитая девичьим
виноградом и дверь в стене.

Потаённая дверь.

*

Снился дом, в котором росла.

Будто ночь. И ни звёздочки на тёмном низком
небе, ни огонька кругом, ни одной живой души
на всю округу.

Только свет фонаря над крыльцом и
мельтешенье в свете...

Мошкара?

Высокая трава у порога. Ни тропинки,
ни калитки – всё заросло чертополохом, чередой
и ясноткой.

Захотелось вернуться туда, куда возвращаться
нельзя.

В старый дом, в старые стихи. Перечитать.
Переосмыслить.

Давние стихи болят, как новые, а новые... спят.

Окна родительского дома смотрели на дороги:
три на просёлочную – за забором, три на тропинку,
петляющую между школьными садами.

Не оттого ли мне так близка тропинка, по которой я спускаюсь каждое утро. Она точь в точь как та, из моего детства, только ведёт к морю.

Но можно закрыть глаза и представить, что за цветущей акацией – дом, даже если знаешь, что там – море.

Одно окно – кухонное – светилось всегда, даже если в доме все уже спали.

Если светились два окна – значит, мама ещё не ложилась и, скорее всего, сидела за проверкой тетрадей. Или за вязанием. Или с шитьём. Редко когда видела её сидящей просто так, без какого-либо рукоделия, с книгой. Окно в маленькой комнате светилось, когда отец работал допоздна – там стоял письменный стол и книжный стеллаж – по правую руку, чтобы можно было, не вставая из-за стола, дотянуться до нужной книги. Основные же книжные сокровища находились в большой комнате.

Так отчётливо увидела сейчас и стол, и книгу, открытую на нужной странице, и тетрадь, в которую он что-то писал своим красивым, каллиграфическим почерком.

Затаившись в уголке, я сидела и наблюдала за ним: вот он отложил ручку, нахмурился... перечеркнул написанное.

– Что там, за деревьями? Что видишь?

– Школу. Ворота школьные... Ты же знаешь, пап... зачем спрашиваешь?

– А я вижу море. Если пройти по этой тропинке в волшебный час, то выйдешь к морю.

– Что за час такой, волшебный? Расскажешь?

– Расскажу как-нибудь.

Так и не рассказал.

Могила его здесь – на Таировском кладбище Одессы, рядом с младшим братом, ушедшим совсем молодым. Здесь же, недалеко, похоронены его старшая сестра и мама – мои тётя и бабушка. А душа... видимо там, где остались какие-то незавершённые дела, недописанные страницы, там, где он был молод и счастлив, где из окна виднелась тропинка, ведущая к морю.

*

БЕЛЫЙ ШУМ

Так приближается
белый шум:
девственно белый лист;
я ещё думаю, что пишу –
он неизменно чист.
Утренний кофе давно остыл,
тает апрельский лёд,
длань подступающей пустоты
больно – наотмашь – бьёт.
Ангел умаялся.
Век со мной хлопотно коротать.
Тихо.
Лишь маятник за стеной
мечется аки тать.

И проступает иная суть –
крыльями и болит.
Кто пошутил, что небесный суд
вынес земной вердикт
и отпустил меня без меча
и прошептал: иди,
и на прощанье пообещал
сумерки и дожди,
сада весеннего тихий свет,
яблони за окном...
Господи, ты меня помнишь... нет?
Вспомни.
Давным-давно
ты окунул меня в снегопад
и не сказал: нельзя.
Может, тропинка в цветущий сад –
и не моя стезя?
Было ли, не было:
первый взлёт,
первый невинный хмель,
первый обманчиво тонкий лёд,
Радоница... апрель.
Дождь собирается –
я пишу.
Ангел уснул давно.
Маятник маяется.
Белый шум
шепчется за окном,
или обычный апрельский дождь
смешивает следы.
Просто... на белый шум похож
звук дождевой воды.

*

И всё же – доверять опасно нам
такому раннему теплу,
апрель – неласков – словно пасынок,
дождём струится по стеклу.
Поток холодный и неистовый
пронизывает до кости,
а рядом вишня серебристая
опять надумала цвести.
Пока о холоде писала я,
он к ней просился на постой,
окутывая ветви саваном,
иль подвенечную фатой.
Ну чем её утешить, дурочку?
Стоит, роняя цвет, как снег,
как будто девочка-снегурочка,
что приходила по весне.
А что потом?
Былины баяли,
что ни следа... а ведь была,
любви ждала, просила, таяла
и лёгким облачком плыла
дорогой горнею да длинною,
чтоб наяву, а не во сне
преодолеть судьбу былинную
и возродиться по весне.
И вновь апрель глядит неласково,
и ночь пасхальная светла,
и наяву, как будто в сказке, в ней
снегурка-вишня расцвела.

Былые беды перемолоты.
Шепчу: Пожалуйста, живи...
Мы погибаем не от холода –
не от жары.
От нелюбви.

*

Дожди намывают стихи и смывают печали
и падают в долгую-долгую-долгую ночь:
Ни сна – ни рассвета.
Лишь только б они не молчали,
иначе придётся безмолвие в ступе толочь.
Так ночь превращается в день –

ни звонка и ни звука,
и гости – один равнодушной другого – в мой дом
спешат наяву, где бессонница – благо и мука,
где в зеркале тень одиночества дымным крестом,
что повелевает кромсать по живому и резать:
мол, это не больно – ты только однажды решишь,
узри над собой ореол добровольной аскезы,
и переживёшь эту долгую-долгую жизнь.
Молиться о чём и на что уповать. За снегами
нахлынут дожди и до края наполнят тетрадь,
дотянут до осени и обернутся стихами;
я верила б им, если б знала, на что уповать.
Зачем неизбежно тону в океане сансары,
какая иллюзия нынче случится со мной?
В поэтов играет бомонд.
Я же просто писала
и странной слыла и, наверно, немного смешной.

Спасенья ищу в обращении к первоистокам,
где лица – как лики – иконны, где взгляды кричат.
Там пел конквистадор о жизни,
о том, что далёко
он видел жирафа на призрачном озере Чад,
о том, что сулит возвращение ад круговерти:
попробуй, из равного выбрать – да не ошибись.
И он научил меня быть и не чувствовать смерти,
но как пережить этот дождь,
эту ночь,
эту жизнь.
Вот разве что только стихи...
Пусть окончится крахом
любая иллюзия, заново долго ль начать.
Пройдёт эта ночь,
эта жизнь –
и я стану жирафом,
там дождь уходящий наплакал мне озеро Чад.

*

Мне выпал сад

Я вышла в сад...

Б.А.

Гаданье на кофейной гуще
когда-нибудь – да приведёт
не к пресловутым райским кущам,
а в сад.
Весенний старый,
тот,

где полстолетья не ступала
ничья нога, и заросли
тропинки.

Тщетно я пыталась
пройти меж одичавших слив
и диких яблонек-китаек,
что так безудержно цвели,
их цвет – как снег – казалось, таял,
не долетая до земли.

В прозрачных сумерках апреля
терялся яблоненый след,
а сад казался акварелью,
написанной за много лет
до нас.

До моего рожденья.

Но то был август – не апрель.
А здесь всю кипит цветенье,
и оживает акварель.

Кричала серая зегзица,
отворожившая своё,
неловкая, смешная птица:
птенцов не холит, гнёзд не вьёт.

Кружила надо мной, кружила
и куковала над тропой,
и ворожила, ворожила...

Вели коней на водопой.
Накрапывал весенний дождик,
земля в саду была бела.

И тихо яблоня цвела,
и третью ночь не спал художник.

Так, очарована апрелем,
здесь чья-то жизнь текла и шла.
В весенний сад на акварели
калитка ветхая вела.
Был потайной крючок опущен,
но я, как много лет назад,
гадала на кофейной гуще.
Мне выпал сад.

*

Кто вспомнит обо мне?
Вот этот дом...
Забывтый в спешке Лермонтова том
из полного собрания сочинений.
Весёлой речки илистое дно,
и на обоях светлое пятно –
былого счастья ответ – без сомнений.

Кто вспомнит обо мне?
Вот этот сад.
В нём нынче штрифель спел и полосат...
Тогда он слыл таинственным и диким.
В него сбегая, летом и зимой,
я забывала все пути домой
и змей боялась, словно Эвридика.

Кто вспомнит обо мне...
Вот этот лес.
Сокровищница таинств и чудес,

он был – по сути – рогом Амалтеи.
Под небом таусинным свой ларец
он раскрывал, и в пурпур и в багрец
преоблачались все мои затеи.

Кто вспомнит обо мне?
Вот этот тракт –
дорога обретений и утрат,
где поворот у самой остановки,
где дуют перелётные ветра,
и вишня – голь на выдумку хитра –
меняет на ветру свои обновки.
То лист,
то цвет,
то завязи щепоть,
то смуглых ягод глянцева́я плоть.

За поворотом – дом.
За домом – сад.
Я в том саду, как триста лет назад,
сплю в середине солнечного шара.
Снаружи кони, люди, времена,
я помню лица их, их имена,
я долго этим воздухом дышала.
Они давным-давно живут вовне,
в воде не тонут,
не горят в огне.
Монетой неразменно́ю меняла
меня снабдил:
всё помнит только тот,
чья кровь по руслу памяти течёт,
о ком и я сегодня вспоминала.

Мой дом, мой сад,
мой сумеречный лес...
Берестяная тайна черт и рез,
уснувших жизнью рунное скольжение.
Я плоть от плоти
белоствольных рощ.
Над капищами льёт холодный дождь...
Ужели не вернусь сюда?
Ужели...

*

Что тебе сумерки...
Стол, тетрадь –
справа – размытым пятном чернила,
стопка заезженного винила –
не довелось на чердак убрать.
Что тебе сумерки –
полутона,
тени заброшенного сада,
из отворенного настежь окна
тянет черёмуховой прохладой.
Нет мне покоя и сна – как нет,
только прикрою глаза и слышу,
падает влажный душистый цвет
и засыпает крыльцо и крышу.
Что тебе сумерки...
Белый дурман.
Скрипнет – как будто вздохнёт – калитка.
златом да серебром пояс ткан,
да не моею рукою выткан.

В дальнем урочище –
на реке
лодка застыла в туманной дрёме,
два лепестка на твоей руке –
рваный прилипчивый след черёмух.
Утлая лодочка не плывёт,
но уплывают вглубь отраженья.
Жизнь замедляет круговорот,
кровь ускоряет своё движенье...
Что тебе сумерки...
Близость троп –
давних, далёких, укрытых цветом..
Вечный черёмуховый озноб
и холода накануне лета.
Лампы настольной неровный свет
там, где чернила пятном застыли, –
им не сложиться стихами – нет...
Что тебе сумерки.
Что ты/ им...

*

По правилам стихосложения,
мне надо бы тему избрать,
спокойно – без лишних движений –
открыть черновую тетрадь
и выписать первую строчку,
а следом – возможно, строфу,
прилежно расставить все точки,
сдержав аллегорий тайфун.

Избавиться от тавтологий,
от рифмы глагольной уйти,
морфемы, фонемы и слоги –
всё высчитать и извести
читателя словом заумным.
На что же тогда словари?
А если на улице шумно –
окно поплотней притворить.
Чтоб было пронзительно, чисто,
и в рифму.
Глагольной – ни-ни...
...а где-то – закат золотистый,
над гатью блуждают огни,
сгущаются синие тени,
и клонятся травы в росе,
и яблони в буйном цветенье,
и спящий туман на косе...
А где-то заря-заряница
посеяла дождик грибной,
(несносная птица – зегзица
в стихи увязалась за мной).
И хочется, землю оставив,
на лунные нивы слетать,
вернуться,
без темы и правил
вот эти стихи написать.
О, стихосложенья уроки...
Я просто пишу от руки.
С дождём перемешаны строки
и звуки и черновики.

Всё просто.
...ни хайку – ни хокку...
В трёхстишиях я не сильна.
Милее мне «штилем высоким»
писать, как восходит луна
над вольным бескрайним простором,
что родиной малой зову,
во сне возвращаться к которой,
привычнее, чем наяву.
Лечу за строптивой строкою
в далёкий заброшенный сад,
где звёзды над спящей Окою,
как будто полвека назад,
мерца в туманной оправе,
глядятся в песчаное дно...
Где нет мелкотемья и правил,
а лишь вдохновенье одно.

СНОВИДЕНИЯ ГОРОДА О

Город у моря был особенным. Каждому, кто впервые попадал в него, он являл череду своих лиц и лишь немногим – лик, который и был, собственно, настоящим лицом города.

О нём ходило множество мифов и легенд, время от времени выплывало утверждение, что нет никаких особенностей, нет никакого лика, языка и т.п.

Между тем, лик был, и чтобы увидеть его, надо было обладать особым зрением – внутренним.

Остальные лица выглядели обычными, ничем от других городов не отличались, и отыскать, на чём держалось относительно мирное сосуществование столь разных слоёв и прослоек, не представлялось возможным.

Бросалось в глаза запустение, царящее в городе. Он напоминал выросшего ребёнка, прежде любимого, а после забытого и покинутого.

Но и в таком состоянии он был прекрасен.

Когда-то на его улицах шумело море.

Многие морские обитатели имели собственные домики-раковины.

Приходило время, домики падали на морское дно, и так было тысячи, десятки и сотни тысяч лет.

На дне из покинутых раковин сложился камень. Море отступило.

Пришли люди и построили из камня-ракушечника город.

В домах из донного желтоватого камня легко дышалось, хорошо сохранялось тепло зимой и прохлада – летом.

Рядом плескалось море, и маленькие и большие его обитатели по-прежнему роняли свои домики-раковинки на дно, когда приходило время.

Иногда – во время шторма – волны выносили раковины на берег, и люди любовались их совершенством.

Упавшие на дно раковины, смешиваясь с песком, превращались в камень, чтобы через миллионы лет море и город вновь поменялись местами, и новый город возник на том месте, где пели колыбельные песни затонувшим кораблям и погибшим морякам печальные волны.

Дома, построенные из ракушечника, становились надёжным кровом для обитателей города.

Но и они когда-нибудь обветшают и станут песком, и на том месте, где шумел и купался в солнечном свете город, раскинется море, и домики-раковины будут падать на дно, смешиваясь с морским песком, чтобы стать камнем, из которого когда-нибудь вновь выстроят дома на побережье.

И так будет всегда, пока на свете будут моря и люди, и будет сам свет.

Первый трамвай везёт пассажиров к утреннему морю.

Наплававшись вдоволь, они будут стоять у самой кромки розовеющей воды, ожидая восхода солнца и представляя, как тысячи тысяч морских обитателей растят домики-раковины, чтобы потом упасть с ними на дно, смешаться с песком, и через миллионы лет стать светлым солнечным камнем, из которого люди выстроят прекрасный город, чем-то похожий на тот, что медленно и нехотя пробуждается наверху.

*

РОМАН С ГОРОДОМ

Невозможно расстаться с городом,
где морем просолен воздух,
где улицы рассказывают
легенды камня домам.
Лучами солнца исколоты
пустые чайчьи гнезда.
Двумя случайными фразами
начинается пляжный роман.
Колодою карт игральных
мельтешат годы и лица,
изменяется масть, и маски
не скрывают подлинных чувств.
Пляжный роман театрален –
который сезон всё длится,
героиня не ждёт развязки,
да и я её не хочу.

Невозможно расстаться с городом,
где всё становится морем:
где будущее туманно,
где былое – песок морской.
Театральный роман короток.
Кто автор?
Булгаков, Моэм?
На этот раз – как ни странно,
он написан моей рукой.
Невозможно представить прошлое
без протяжных песен маячных,
что проникают в сон мой,
разрывая густой туман.
Замечает снежное крошево
обрывки сети рыбачьей,
где рыбкою невесомой
запуталась я сама
и ещё продолжаю путаться:
театральный роман длится,
и я – случается – экаю
там, где надо бы звук смягчить,
и впадает моя улица
в море,
и синей птицей
душа взлетает, и эхо лишь
у Жёлтого камня кричит.

Декабрьское

Декабрь.

День десятый.

Дождь.

Ещё чуть-чуть и город смоем,

а он – венецианский дож,

он обручён навеки с морем.

То в дымке лёгкой – то в дыму

то безмятежно – то тревожно

он спит

и снится снег ему,

хоть и поверить невозможно,

что грезят старые дома

о снегопадах втихомолку,

как будто спящие тома,

на обветшавших книжных полках –

стоят, тоскуют ни о чём

тоскою птичьей иль цыганской...

А город с морем обручён,

как будто дож венецианский.

Пройдёт последний пешеход,

трамвай последний в даль умчится,

и эта ночь

и этот год,

и эти улицы-страницы

исчезнут в сумраке пустом,

и первый утренний прохожий

войдёт как в будущее – в дом

под снежной шапочкою дожа.

Июльское

Горячее солнце июля
до края наполнило дни,
гудит, как разбуженный улей,
мой город в ажурной тени.
Презревшие ленность и негу,
спешат, позабыв про дела,
в волну окунуться с разбегу
и солнцу подставить тела.
А здесь, словно в каменной колбе,
в колодце родного двора,
июльский тринадцатый полдень
стихом опадает.

Жара.

Куда-то исчезли полгода –
и эти недели не в счёт,
на лестнице чёрного хода
паук паутину плетёт,
и ходит от края до края,
свивая полуденный зной...
Короткие ночи сгорают,
и утро пестрит новизной.
У «сфинкса» оконных откосов
чердачная пыль на хвосте,
из персиков и абрикосов
варенье кипит на плите.
Я мажу янтарные пенки
на хлеб, ещё тёплый внутри...
Здесь солнечный заяц на стенке,
здесь солнечный след – у двери,

здесь ангелов слышится пение,
здесь свет и тепло и уют.
Здесь лестницы “чёрной” ступени
к девятому небу ведут.

*

Макушка лета –
попросту Петровки –
и во дворе и в доме духота,
и примелькались летние обновки,
и вся малина собрана с куста.
О ней забыли, как и о сирени,
сирень исчезла – не видать нигде;
из птичьей вишни сварено варенье,
венки сплетён и пущен по воде...
...туда, где нынче время сенокоса,
туда, где всё прохладней вечера
и всё студёней, всё белёней росы:
кончается русалочья пора.
А здесь ещё всюю цветёт софора
и источает пьяный аромат,
на колокольне старого собора
колокола к заутрене звонят.
Но я грешна.
Не соблюдаю правил.
Мой сон уносит колокольный звон
по той реке, где шёл рыбарь Шимон.
Он станет – Пётр.
А Савл станет – Павел...

Макушка лета –
попросту Петровки.
...у храма – на трамвайной остановке –
какой-то мальчик обронил ключи
и, о пропаже сожалея, плачет.
Но ласточка ключи под камень спрячет.
О том кукушка знает.
Но – молчит.

Тревожное

...тетрадь со стихами бросив
в какой-нибудь долгий ящик
я стану простым бариста
в ближайшей автокофейне
я буду варить вам кофе
на площади – у Собора
кому-то американо
кому-то двойной эспрессо
как будто не замечая
ползущую серую плесень
как будто не замечая
что сумерки правят миром
когда же совсем стемнеет
и фонари зажгутся
случайный прохожий скажет:
постойте-ка я вас знаю
вы жили в доме напротив
и вроде стихи писали
о городе
о грифонах
о море и о погоде

я этим стихам поверил
я думал – живут же люди
как в сказке – не замечая
что сумерки правят миром
но вы возьми да умолкни
прочтите же мне скорее
о море и о грифонах...
молчание – гавань бедствий
о нет

я сварю вам кофе
и сами вы убедитесь
его я гораздо лучше
варю чем стихи читаю
и несомненно – лучше
чем их сочинять пытаюсь
я столько слов заучила
но все они бесполезны
важнее всего не слово
а действие – чувство – дело;

я вам заплачу возьмите
за чашку американо
за чёрный двойной – с корицей
без сахара – с кардамоном
но пить я его не стану
мне кофе противопоказан
врачи говорят что сердце
не выдержит даже чашки;

и я растерянно стала
читать ему о погоде
о том что стихи – как беды
всегда приходят неожиданно
и столь же неожиданно счастье
и столь же неожиданна радость
он молча стоял и слушал
парил остывая кофе
и я поняла что смысла
немного в моём молчании
и выдвинув долгий ящик
тетрадь наугад открыла...
...смешались стихи и кофе
с корицей и кардамоном
где сумерки правят миром
где рыщет серая плесень

*

Ты, правда, считаешь, что это легко,
запрятать стихи глубоко-глубоко...?
В молчании – мудрость.
В молчании – сила.
В молчании – боль, что невыносима.
Себя схоронив, без сомнений – живьём,
немою обыденностью заживём,
и раны затянутся рано иль поздно...
Ведь ты утверждаешь, что всё несерьёзно,
что только в молчании кроется благо,
а там и до истины шаг,
иль полшага,

Но в жилах вскипает от боли *руда*...

Становится мёртвой живая вода.

Ты, правда, считаешь, что это легко,
дуть на воду, зная, что там – молоко,
в молчание спрятать невзгоды и беды,
ни звука, ни слова, ни тени, ни следа.

Средь ищущих, алчущих мнимых страстей,
ристалищ, турниров и прочих затей,
стихи – это просто желание выжить
в миру, где свои убивают своих же,
где серая плесень ползёт по земле
с похмелья кровавого навеселе.

Где полнится небо смурным вороньём,
где каждый молчит о своём...

О своём.

Кошачье

Капля луны висела,
в море текла дорожкой.
Были все кошки серы.
Были все люди – кошки.
Были не понарошку
ни выжлецы, ни псицы,
ночью все люди – кошки,
ночью все кошки – львицы.
Вместо пустых полемик
в полночь уйди из дома:
Здравствуй, кошачье племя,
мы ведь с тобой знакомы.

Мы ведь сродни друг другу
были давно когда-то.
Там, за покосным лугом,
дикие спят котята.
Всматривайся и слушай,
и разглядишь в потёмках
хвост и, конечно, уши
брошенного котёнка.
Как оно дальше будет...
Злая судьба шельмует:
вырастет – выйдет в люди,
если перезимует.
О корешок прострела
станут клыки точиться,
станут все люди серы,
станут все кошки – львицы.
Не уследишь за всеми –
съели к утру кого-то.
Здравствуй, младое племя,
доброй тебе охоты.

Дворницкое. Осеннее

Сумерки прохладой прирастают,
но ещё сулят тепло рассветы,
дворники сметают, не читая,
письма из утраченного лета
в зябкие костры за гаражами,
что чадят осенними ночами,
вписывая в горние скрижали
радости земные и печали.

Дворники – сурки и нелюдимы,
не сильны в эпистолярном жанре,
в струйках дыма видят струйки дыма,
что им до каких-то там скрижалей,
до летейских тяжких вод забвенья
с чёрными от серы берегами.
Несколько небрежных мановений –
и сокрыта память под штрихами.
Выйдут – как обычно – на рассвете,
в час, когда ночные тени тают,
помянут недобрым словом ветер,
мётлами листву перелистают.
Со страниц проспектов и бульваров
в тёплых брызгах солнечного света,
с мостовых, мостов и тротуаров
дворники сметают лето в Лету.
Мне бы слушать мётел их камлание,
им бы – поскорей убрать весь город.
Где-то там – в кострах – мои послания
из тепла перетекают в холод,
из весны перелетают в осень,
растворяясь в поднебесной выси.
Дворники их не заметят вовсе –
утром город полон новых писем.

Прощальное...

Всё настоящее далеко
и – неизбежно – в прошлом,
неудержимо к нему влеком,
полон учений ложных,

ты прозреваешь на берегу
вечной реки студёной,
в самой невежественной из гун
помня всё поимённо.
Всё настоящее, что саднит
и заставляет помнить:
здесь от платанов свежо в тени
в жаркий июльский полдень,
здесь от бесснежья плавит зима
серое небо в лужах...
Крик маяка плывёт сквозь туман
и разрывает душу.
Что перед ним все вопли сивилл
и предсказаний сонмы,
если отчаяньем где-то в крови
бродит вчерашний сон мой,
бродит беспомощно – до утра,
в дебрях пустых риторик,
ищет затерянный во вчера
тихий одесский дворик.
Всё настоящее... вдалеке.
Затемно – утром ранним –
выйдет из дворика налегке
светлый и добрый странник.
В утренней спешке и суете,
трафиками опутан,
город притихнет, осиротев
и потемнев, как будто.

Палыми листьями занесён
путь его...
/крибле-крабле/
Вдаль уплывает вчерашний сон,
словно цветной кораблик.

*p.s. Светлой памяти одесского художника Алика
Мирзоева посвящается...*

*

Такое случается в марте, когда
становится талой земля и вода
становится тёмной водою
и пахнет весной и бедою.
Там месяц нашёптывал мне молодой:
не стой у окна,
не ходи за водой,
за снегом иди – он растает,
от бед и следа не оставит.
Такое случается в жизни, когда
непрощеной гостьей приходит беда
и алчные тянет ладони
и властвует в сердце и в доме,
в который недавно, как будто вчера,
на зов освещённого солнцем двора,
где юность и радость плескались,
друзья и подруги слетались.
А нынче печально вздыхает струна,
снег тает и тает на небе луна,
и жизнь в одночасье листая,
душа отлетевшая тает.

И мне остаётся – всего-ничего,
печально при встрече кивать головой
и пестовать памяти крохи
и помнить мерцающий профиль.

Такое случается.
Дальше живёшь.
По улице, ставшей родною, идёшь,
а улица слёзы не прячет
и плачет и плачет и плачет.
Туманами полнится март и бедой,
и время уходит за талой водой,
туда, где стоишь во вчера ты
и не постигаешь утраты.

*p.s. ...светлой памяти Валентины Степановны
Голубовской посвящается*

*

Туманный март тебе к лицу, город.
И пограничное состояние перехода: уже не
дождь, или ещё не дождь, превращает улицы
и бульвары твои в старое полотно, написанное
много лет тому назад.

В тебе всегда и всё было со своим оттенком,
акцентом, колоритом.

Всё изменилось.

И дело не в глобальном потеплении, и не
в племени младом и незнакомом, растущем
в чужой и агрессивной и весьма питательной

среде, и даже не в “садоводах-любителях”, пестующих это племя.

Изменилось пространство, задев за краешек время.

И этого оказалось достаточно, чтобы всё в мире перевернулось с ног на голову.

Впрочем, такие перемены не в диковинку – всё это уже было когда-то здесь, в южном приморском городе.

Из неизменного: туман, голос маяка, памятник Поэту, дом с кариатидами на Нежинской, брусчатка, дворики в тени платанов и акаций, трамваи...

Море.

Прозрачные капли-слёзы дрожат на длинных иглах крымской сосны, на матовом чёрном теле грифона, на тонких пальцах Королевы.

Здесь даже туман пахнет ладаном.

И эти слёзы не то от радости, не то от печали, не поймёшь.

Безветрие.

Голос маяка плывёт сквозь туман.

Не хочется ничего понимать.

Хочется плакать вместе с мартом и никому ничего не объяснять.

ТОЛЬКО БЫ МОРЕ ДЫШАЛО У НОГ

“...зима будет самой холодной за последние сто лет...

...это ненормально для октября, даже для наших мест.

...вертят-крутят с этим коллайдером, это от них всё – не иначе...

...теперь осени не будет. Да. Так и сказано: лето, лето, а после мороз ударит десятиградусный – и всё живое помёрзнет...

...пенсию-то добавили, а вот теперь как начнут цены подымать...”

Прохожу сквозь обрывки чужих разговоров, словно «сквозь строй», мимо скамеек и лавочек.

На скамейках – бабушки и тётушки, дамы с собачками и без греются на солнышке и говорят, говорят, говорят...

Старичков не видно, старички – редкость в наших реалиях. Уходят раньше. Статистика весьма и весьма печальна – мир полон одиночеств.

Осенние коты, опавшие от щемящего, проникающего сквозь подшёрсток – до самой кожи, тепла, осенние коты, разноцветные и пушистые, как опавшая листва – везде: на плитке и на асфальте, на капотах припаркованных авто, на зелёной ещё траве – вид у котов безмятежный, изнеженный, умиротворённый, ещё не зимний – но уже очень-очень близкий к нему. Осенние коты, согрешившие и согревающие, радуют глаз.

Прохожу мимо них, теплейших, – по тёплому песку – к воде, и теплеет душа.

Воздух плюс двадцать один, вода плюс семнадцать. Что тут раздумывать – скорее в воду.

Осеннее тепло важнее и нужнее, чем летний жар.

Оно согревает, не обжигая, и греет долго, помогая пережить самую студёную зиму, какой бы большой она ни была.

Чайки, медузы, раковины, камешки и камни.

Море, всё понимающее и принимающее, смывающее все беды и хвори – у ног.

Что там, за нынешней тёплой осенью?

Студёная и долгая зима?

Новый апокалипсис?

Бархатные и панбархатные революции, крики либералов и либералок “всё пропало, господа, мы далеки от народа, народ не с нами, он против нас...”.

Переживём.

Только бы море дышало у ног.

*

ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД

Мне подарили новогодний шар.

Он был красив и невесомо-нежен.

Внутри был мир уютен и заснежен.

Мело.

И я смотрела, не дыша,

как в домике с кирпичною трубой
окно светилось желтоватым светом,
и, осыпая снег с еловых веток,
галдели воробьи наперебой.
О том, что будет ранняя весна,
что впереди морозы и метели,
что ласточки до срока улетели,
а лебеди остались допоздна.
Что суетились больше всех скворцы
и запереть скворечники забыли,
и после них осталось столько пыли,
а их послушать: пуха и пыльцы.
Галдят, галдят, без устали снуют,
но я уже не слушаю их гомон,
из дома выйдет кто-то мне знакомый,
и я узнаю...
Нет. Не узнаю.
Неосторожно выпускаю шар,
и он летит в сугроб...какая жалость.
И свет погас, и всё перемешалось
снаружи, всё внутри перемешав.
Остался только тонкий аромат
свечей и хвои,
ладана и мирры,
и я – пылинка тамошнего мира,
пытаюсь уловить сторонний взгляд
того, кто держит на руках мой шар,
и снегопаду рад,
и свету в доме...
О, Господи, не отводи ладоней,
не дай судьбине всё перемешать.

Продли на миг придуманный уют
и сумерки, где в ореоле света
я в дом вхожу,
и снег спадает с веток,
и воробьи без усталости снуют.

*

Графика зимних улиц – белила, сажа
и иногда – прорвавшая мглу, лазурь.
Мне не хватает солнца –
я с этим слажу,
только б спасти проснувшуюся лозу.
Оттепель поманила и обманула,
и за окошком в сумерках – минус пять,
замер побег молоденький рыбкой снулой,
время не повернуть ни вперёд – ни вспять.
К вечеру снег пойдёт и надёжно спрячет
в белых ладонях спящего лета сон,
но отчего же я, словно в детстве, плачу,
скрыв от тебя заплаканное лицо.
Помнишь ли, как февраль о тепле молило
спящее лето в панцирях ледяных...
Графика зимних улиц: лазурь, белила
и изумрудной зелени робкий штрих.

*

Ты мне говорил: не руби с плеча,
мол, будешь жалеть сама...
Легла на плечи мои печаль –
я думала, что зима.

Ты мне говорил: на чужой роток
платок не накинуть – жаль,
и счастья хмельного горчил глоток
как дикий мёд, как печаль.
Ты мне говорил, что жизнь прожить –
не поле ржи перейти.
И я до рассвета пыталась сшить
две доли и два пути.
Затеplenная свеча жила,
пока я сшивала их,
и ноша – печальна и тяжела,
росла на плечах моих
Ты мне говорил, что вот-вот – весна,
готовь для двоих ночлег,
и я, поджидая тебя у окна,
смотрела, как падал снег.
Почудилось – что на плечах моих
не ноша, а два крыла,
и стало понятно в какой-то миг,
что поле я перешла...
И было столько полей в вышине
и ни одного пути.
А там – за плечами – всё падал снег,
и кто-то шептал: прости...

*

Зима вернулась в город
и пошла
позёмкою змеиться в переулках,
и заиграли тени в зеркалах,
под Рождество подаренной шкатулки,

где на пуанты девочка встаёт,
едва лишь кто-то ключик повернёт.

Зима вернулась.

В тесной темноте
ещё белее белое на чёрном,
обрывки чьих-то жизней,
чуждых тем;
зачем мы были,
спорили о чём мы,
без устали крутили фуэте,
порою – ради слова в пустоте.

И, повторяя ночью у окна,
отрывки из Писания Святого,
я думала: одна.

Опять одна.

Но неизменно рядом было Слово.
И я срывалась словом с чьих-то уст
туда, где город был и бел и пуст.
Мело – как в старой сказке – за окном,
жизнь мнилась то рекой, то берегами,
летела белой птицей,
вещим сном,
а обернулась белыми стихами.

В них ночь и неба зимнего пастель
и поздняя февральская метель.

Случайно ли под утро мне она,
напомнила забытое по-не-же,
я по привычке встала у окна
и записала: город был заснежен,
проглядывало солнце из-за туч.

А где-то поворачивался ключ.

На дне шкатулки медный плакал ворот.
И оживала музыка, и вот
как на пуанты зимний день встаёт,
и я пишу:
зима
вернулась
в город.

*

Пленница сослагательных наклонений,
всё размышляю о том, что было бы,
если бы не...
Противница авторитарных мнений,
не топлю свои страхи в вине,
утверждая, что именно там
находится горе-истина.
Не хожу тропами лисьими,
не петляю,
именуя петли пространствами вариантов,
не рассказываю сказки о карме,
понятия не имея
о причинах,
но вязну по горло в следствии:
розовые пуанты с тёмным пятнышком,
лысый мужчина
в фрачной паре в первом ряду партера,
поднимающий руку в едва заметном приветствии.
Если бы три жизни тому назад
мама не отвела бы дочку в театральную студию
со странным названием «Ковчег»,

мозоли, сбитые локти и колени
не вошли бы в привычку.
Что было бы, если бы?
Если бы не...
то я бы...
Плен сослагательных наклонений,
любимые ямбы,
не исключают пространства вариантов.
И всё те же пуанты,
всё тот же снег...

*

Стихи о снеге тают на лету
над опустевшим утренним бульваром,
где реет призрак ёлочных базаров;
где кто-то ждал звезду или мечту,
охваченный предпраздничным угаром.
Наутро – ни звезды и ни мечты,
и улицы притихшие пусты,
обрывки мишуры гоняет ветер,
и город сонный молчалив и светел.
Стихи о снеге не заменят снег,
хоть и сойдут в рождественский сочельник.
Нет участи отрадней и плачевней
писать их под далёкий детский смех,
под благовест, сзывающий к вечерне,
то торопя, то сдерживая бег.
Заполонила сорная трава
единственные нужные слова,
давным-давно забытые, простые,
как древняя молитва из псалтыри.

Стихи о снеге – белые стихи,
навеянные ливнем новогодним.
Овец небесных по небесным сходям
небесные сгоняли пастухи.
И новый день натягивал поводья,
и мчались кони резвы и лихи...
И не было б у нас иных забот,
кроме одной: вступая в новый год,
с надеждой и с молитвой из псалтыри,
над каждым видеть нимбы золотые.
А там...и снег когда-нибудь пойдёт.

*

Уныние простится и неверие,
отпустится закоряченый грех,
в провинциях, в имениях, в империях –
по всей земле идёт сегодня снег.
Кружит над миром белая метелица,
божественная белая строка,
и хочется на лучшее надеяться,
и за полночь, как встарь – у камелька –
дышать теплом,
загадывать желанья
и приручать танцующий огонь,
писать всю ночь и
встретить утро раннее
и снегопаду протянуть ладонь.
Увидеть за снегами горы синие,
а за горами – солнце – как во сне,
соединить в одну две тонких линии,
закрыв глаза – как в детстве – падать в снег.

Наворочит метелица с три короба,
накуролесит – только успевай...
И в сумерках уже не видно города,
лишь светится заснеженный трамвай.
Перемешались умники и умницы,
дома, деревья, храмы, купола,
и назубок заученная улица
уводит в небо и белым-бела.
Кого б ещё метель могла порадовать...
Ты будешь из окна смотреть свой сон
и след от крыльев ангельских разглядывать,
не веря, что тобой оставлен он.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА

Когда именно появилась на склонах камышовая “рощица”, сказать не могу.

Столько лет и зим хожу мимо, и почти не обращаю внимания, что там, по обе стороны тропинки, ведущей к морю, настолько всё привычно.

Заросли акации, шелковицы, софоры.

Небольшую полянку отвоевал чертополох, и как раз сейчас полянка цветёт нежно и волнующе, и на душе от этого цветения лилово и сиренево.

Пройдёт совсем немного времени, сиреневое и лиловое поблёкнет, спрячется в серебристое и улетит.

Чуть ниже какой-то кустарник, и там – в гуще – подросший сорочий выводок учится летать. Крик и писк на всю округу.

И вдруг камыш. Очерет. Высокий и густой, говорящий с ветром и облаками о чём-то родном, с детства знакомом, и птица в зарослях не то кричит, не то трещит, не то поёт.

Минут пять стою, не шелохнувшись, и вот она – очеретянка, камышовка, серенькая с пёстрой спинкой, на воробья похожа. Её так и называют иногда: камышовый воробей.

Всё правильно. Раз очерет, он же камыш, значит и птица в нём водится камышовка.

Только откуда бы взяться камышовой рощице на морском побережье?

Или стою я сейчас не на морском берегу, а на пологом берегу солнечной речки Вельи из детства.

За речкой – молодой сосновый бор.

За моей спиной – яр, охристый песчаный, весь испещрённый чёрными точками.

Если подойти ближе, можно разглядеть снующих над водой ласточек-береговушек. Чёрные точки на песчаном яру – их гнёзда.

Подняться бы на самый верх, выйти на дорогу, ведущую к дому.

Калитка закрыта, но я знаю: надо просунуть руку между второй и третьей штакетинами, откинуть тугой крючок и, не торопясь, пройти через сад, где цветут две огромные липы, тигровые лилии и мальвы.

Обхожу камышовую рощицу с другой стороны и вижу их, мальвы и лилии.

Только цветущих лип недостаёт.

Уже в переулке останавливаюсь перевести дух, поднимаю голову, и волос моих нежно касается огромная ветка цветущей липы.

Возвращаюсь с моря.

Или из детства?

*

ЧИТАЕТСЯ АВГУСТ

Предчувствие осени бродит в закате, рассветы бессонницами прирастают, и птицы всё громче кричат об утрате и просятся в стаю.

Июль догорает над морем зарницей,
сгущается сумерек томная благодсть,
и в строчках последней июльской страницы
читается август.

А там, где цвели золотые купавы,
где в омутах тихих венки пропадали,
тяжёлые яблоки в сонные травы
в ночи упадают.

И пахнут полынною волглой землёю
и липовым мёдом и сеном лежалым,
и верят, что падают в небо ночное,
и дом их – Стожары.

И я, извлекая осеннее жало
и зная, что это смешно и нелепо,
как яблоки верю, что дом мой – Стожары,
и падаю в небо.

*

От меня и следа не останется,
только лёгкая тень у моря,
что – как день в межсезонье – тянется
между осенью и зимою,
и блуждает июльским вечером,
в коридоре лунных затмений.
Рядом – тени судьбой отмеченных –
позабывших поэтов тени,
что ходили по этим улицам
и слагали стихи, в которых
море с солнцем легко рифмуется,
ветер ждёт в парусах и шторах

и гнездится в белье, развешанном,
во дворе моём – на верёвке.
Он бывает ручным и бешеным,
мне знакомы его уловки –
он любитель осенних шалостей:
притворится, что мирно дремлет,
и к утру оборвёт безжалостно
все остатки листвы с деревьев.
Вот по этой листве – как по морю
уплываю от жизни прочь я,
вспоминая давно знакомые,
позабывших поэтов строчки.
В них деревья хрипят простуженно,
словно петли скрипят дверные,
и дожди, хоть зовутся южными –
ледяные, сплошь ледяные.
Пролетит зима-бесприданница,
станет притчей наимудрейшей,
от меня только тень останется –
тенью больше,
иль тенью меньше,
лишь бы синим июльским вечером
над водою прошелестели
строчки, странной судьбой отмеченных –
позабывших поэтов тени.

*

С полки снимаю томики –
даже вздохнуть не смею,
в рамках силлаботоники
пишется всё теснее.

Пишется, только нехотя,
нехотя и живётся.
Пусто.
Лететь ли,
ехать ли.
Но на бумагу рвётся
слово,
да только надо ли
приумножать печали?
Снова за словом падаю
в ночь и не сплю ночами
и не грешу верлибрами,
розами и шипами...
В доме тепло и прибрано,
вытерты пыль и память –
давняя и бурлящая
пристань с отметкой «юность»,
только без настоящего,
видимо разминулись.
Пишется.
Только надо ли –
дом и душа в порядке,
глупое сердце падает
в брошенную тетрадку,
ищет дорогу Млечную,
дух бередит бродяжий,
давняя хворь сердечная –
как ты ему прикажешь.
Вот и плетёшься исподволь
на поводу у слова,
то ли за древней истиной,
то ли за чем-то новым

в дебри силлаботоники
тропами и тропами...
С полки снимаешь томики
и воскрешаешь память.

*

Деревья влаги заждались
и замерли и заскучали,
а лето просится на лист
и много солнца обещает
в стихах, где венский круглый стол,
накрытый к утреннему чаю,
послужит временным холстом
для чайных чашек и для чаек,
что над верандою кружа,
о скорой осени вещают,
и предрекают, ворожа,
разлуку с милыми вещами.
И переездов кутерьма
в пустые хлопоты упрячет
осиротевшие дома
и в спешке брошенные дачи.
А мы...
Мы стали привыкать
к дыханью моря за окошком,
к певучим сходням чердака,
к дорожке лунной,
к странной мошке,

что в свете фонаря кружит
то облаком, то позументом,
и свято верит, что бессмертна.
А нам бы до утра дожить.
В ладонях смуглых летних дней
дымится моря сизый ладан,
и белоснежных простыней
всё вожделеннее прохлада,
и берег пуст и каменист,
и лодку нам волна выносит...
И лето просится на лист,
но остаётся только осень.

*

Не называешь имени – и ладно.
Я по глазам прочту его, листая
прохладу взгляда,
тихих слов прохладу,
горчащих оттого, что жизнь тает.
Её полупустую оболочку
раскачивает глупое заклятье:
ни взгляда,
ни слезы,
ни дня без строчки.
Сомнительное, мнимое занятие.
Размениваю лето – пядь за пядью –
на несколько смешных стихотворений,
и лист из недописанной тетради
сжимается полоскою шагрени.

Не называешь имени – и ладно.
где тени безымянны – осень ближе,
прохладны ночи и дожди прохладны,
и месяц – как лимон – до капли выжат.
Но полнится моими именами
наш странный дом,
наш мир странноприимный,
где прошлое сумерничает с нами,
едва лишь затихает город дымный.
Не называешь ангелом – и полно
о прошлом причитать – не растерять бы.
Бутылочную почту носят волны
и раковины – для жемчужной свадьбы.
И эту жизнь до дна придётся выпить –
смешать морскую соль с дорожной пылью...
Но там, где все иные тени видят,
ты видишь свет моих незримых крыльев.

*

Не договорить.
Не домолчать.
Август прячет осени печать
в сложенные крылья за спиной.
Мимо белых пустоглазых лиц
я лечу к гнездовью синих птиц,
что поют в терновнике весною.
Не договорить и не допеть.
Сквозь листву просвечивает медь,

и дымится терпких ягод смальта,
но ещё закаты горячи,
и дрожат рассветные лучи
в тонких пальцах ветреной катальпы.
Жертвенных костров горчащий дым,
песни моря,
чаячьи следы –
там, где небеса смежают вежды.
Ягоды терновника горчат,
сорвана осенняя печать,
на неё лишь только и надежда.
Чтоб дослушать и договорить
и, не оборвав до срока нить,
пережить комедии и драмы
здесь, где всяк босяк вершит дела,
позолотой кроя купола,
называя эти башни – храмом.
Здесь ни за,
ни против,
я одна
вчитываюсь в птичьи письма
где-то между небом и землёю.
И вдали от торжища,
в тиши
обретаю храм своей души,
уплывая следом за ладьёю....

*

Это всего лишь август – не обольщайся –
танцами у черты неразумных дразнит,
а за чертой в потустороннем вальсе
кружится осень и обещает праздник.
И поутру яблок полна корзинка,
и в разговорах вместо коротких пауз
издалека – будто бы под сурдинку –
слышится только август и снова август.
Тонкой иглой спешно сшиваешь парус
и по привычке дни – как шаги – считаешь.
Не огорчайся.
Это всего лишь август
летнюю брешь новой мечтой латает.
Точки расставлены,
и не дочитан «Фауст»...
Где-то на грани – между судьбой и фарсом
яблоками стучится бродяга-август
в сон твой...
Не просыпайся.
Не просыпайся.

*

Пол-августа – на двоих,
забытая жизнь в подарок,
страницы любимых книг,
щемящая грусть гитары.

Далёкого лета блик
на утренний дождь нанизан,
и августа черновик дописан,
почти дописан,
и падевый выпит мёд,
и столько звёзд в поднебесье...
Здесь лето ещё поёт
свою негромкую песню,
здесь пишется так легко
и так же легко молчит
об осени, что возком
небесный везёт возница.
Пылает закат в окне
заброшенного сарая,
и рукописи в огне
рождаются и сгорают,
от боли – как мы – крича.
И пепел летит над миром...
Здесь яблони по ночам
в садах источают миро –
лекарство от всех забот,
от горестей и лишений.
Здесь каждый из нас пройдёт
свой путь до преображения.
И каждому будет сад, –
зови, если хочешь – раем.
Здесь рукописи горят,
но к счастью – не все сгорают.

*

Человек человеку – яблоко.

Не спеши

расставаться с родимым садом

в преддверии осени,

где на ветке два наших яблока – две души,

где бросает безжалостно северный ветер оземь их.

И одно другому пытается прошептать:

Не спеши, не падай...

Успенья дождись, пожалуйста.

Коли выпало в эту осень с тобой упасть,

то ни слёз не надо о жизни, ни глупой жалости.

Не спеши.

Сгоревшее лето идёт ко дну –

в предстояние осени.

Близятся дни ненастные.

Были яблоки, – скажут – и умерли в ночь одну.

Были яблоки – долго – и были счастливы.

Человек человеку – яблоко, свет и боль.

Только чтобы усвоить нехитрое это правило,

то разводит судьба, то сводит меня с тобой

в том саду, где старая яблоня свет оставила.

На него наши яблоки-души ещё летят,

на восток – к восходу,

где станет печаль легка.

Человек человеку – свет и, конечно – сад.

Человек человеку – боль – и, конечно – яблоко.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ОСЕНИ

Северный ветер принёс долгожданную прохладу, степная свежесть смешалась с раскалённым городским воздухом: гремучей смесью бензина, асфальта, резины...

Где-то прошёл дождь, и высохшие степные травы благоухали, раскрыв самые глубинные оттенки и нотки, кружили голову и звали в дальнюю дорогу, в странствия по городам и весям.

К вечеру дождь добрался до города, всю ночь – до рассвета, и всё утро, тяжёлые холодные капли стучали в оконное стекло.

И думалось, так ли уж несносна была эта августовская жара, так ли невыносима, что стоило молить о прохладе и о пощаде...

Сомнение на грани сожаления скользнуло и запало в душу: дождливое холодное утро за прикрытым окном – впервые за весь август, и кот, спрятавший нос под лапу, свернувшийся уютно в ногах, и отгоревшая до срока листва клёна, сбитая северным ветром – всё это ещё не сама осень, а лишь её первое прикосновение.

Так в жаркий летний полдень сквознячок, возникший неведомо откуда, холодит висок. Какое-то время его холодок приятен – до первого лёгкого озноба. Потом начинаешь искать, чем бы укрыться. Думать, откуда он?

Выходишь на кухню, идёшь босиком по прохладному полу, наполняешь ледяным зелёным чаем с мятой высокий тонкий стакан и смотришь, как грани стакана запотевают и становятся матовыми. Прикрываешь двери, плотнее задёргиваешь синие шторы на окне, выходящем во двор – на северо-запад.

И вот уже снова сочится патока августовского зноя, и озноб исчезает бесследно: ни дуновения ветерка, ни прохлады, ни сквозняка.

Прикосновение осени напоминает не о скорой зиме, но о скоротечности лета, о скоротечности жизни и о море, которое вечно.

Прикосновение осени мимолётно, как счастье. Оно длится мгновение: скользнуло по щеке, будто солнечный луч, и исчезло.

Остаётся ощущение света и тепла, ощущение счастья: тропинка, ведущая к морю, кошачьи уши в выгоревшей на солнце, сухой траве, пятнистые тени софор и акаций, море тихое и серебристое в полупрозрачной утренней дымке, и неизменный маленький белый парус на горизонте, чайки, рыбаки, яхты...

Утренний влажный песок испещрён чаячьими следами. Бредёшь по нему, читаешь птичью клинопись и ничего не понимаешь в ней, но знаешь: осень идёт по чаячьим следам.

Тёплая и ласковая вода уносит тебя восходящему солнцу навстречу, и все твои сомнения и сожаления тонут в море.

Плывут облака, летят чайки.
Плывёт августовский день.
Лето уплывает неспешно, незаметно, не
оставляя следа.

*

ПИСЬМА В НИКУДА

Давным-давно живу,
давным-давно
усвоить равновесие пытаюсь,
но всякий раз срываюсь – всё равно –
туда, где летний вечер отцветает
и летний разливаются закат
и золотом течёт в окно мансарды,
и что-то – неизменно – входит в кадр,
а что-то остаётся там – за кадром –
невидимым для посторонних глаз,
для рук чужих и взглядов посторонних,
и оживает тайна всякий раз,
едва заря легонько небо тронет.
Так кто-то до меня – сто лет назад,
касался книг в шкафу из палисандра
и вечерами выходил в закат,
а всем казалось, что в окно мансарды.
И, открывая книгу наугад,
листая пожелтевшие страницы,
я отыскать пытаюсь чей-то взгляд
и вздох и всё, что может сохраниться

меж незнакомых стихотворных строк,
написанных давно, во время оно,
мне близок этот архаичный слог
и сумерек прохлада законных.
Давным-давно живу,
давным-давно
не голоса ловлю – но отголоски,
смотрю на, обрамлённую окном,
бушующего золота полоску,
и вижу, как чужая жизнь текла,
чужая смерть поблизости таилась,
покуда жизнь жаждала тепла
и уповала на господню милость,
по вечерам смотрела на закат,
пугаясь дальних грозовых раскатов,
и думала, что попадает в кадр,
и оставалась в стороне – за кадром.

*

Такие стихи приходят во сне
негаданно и нечасто,
в чернильной ночной густой тишине
в открытую дверь стучатся
и входят с дождём,
размывшим строку,
остатками слов стекая,
как время – спешат
как время – текут,
как время – не иссякают

Такие стихи
несут непокой,
бессонницу прочат в гости.
Я с ними рьку.
Я стала рькой,
где бакен и ветхий мостик,
где только вчера играла вода,
от вёсел идя кругами,
сегодня – ни лодки и ни следа,
и бакен едва мигает.
Всё ближе излучина.
А потом
того и гляди – заснежит...
Какие стихи приходят в мой дом?
всё те же, мой друг, всё те же...
А где-то негромко играет блюз,
и я отпускаю с миром
кричащих неистовое: люблю,
творящих себе кумиров.
Моё одиночество...
Я смеюсь:
всяк ищущий да обрящет.
Негромко играет осенний блюз,
синкопой в стихи входящий,
в обрывистый берег,
в обрыв строки,
в прерывистое дыханье,
как будто бы кто-то велел: рьки,
и стала рька стихами,

что каждую ночь приходят в мой дом,
случайным дождём размыты.

Я выношу.

Выпишу.

А потом...

Излучина. Свет. Молитва.

Оборванность строк, солёных на вкус,
неровность размытого края,
и ночь, где негромкий осенний блюз
играет...

*

Сны мои снятся кому-то чужому,
мне ж – суетливая явь – без стихов.
Белый налив да зелёный крыжовник,
всё, что осталось в краю глухом.
Новых стихов не прошу – не надо,
буду молчать, коль велел: молчи.
Здесь, за оградой старого сада,
голос Твой близок и различим.
Память изодрана, латка – на латке:
что не изжито – о том поём,
но поутру паутиной заткан,
снытью заросший, дверной проём.
Вздых осторожный иль шаг осторожный,
что-то волнует осоку-траву,
напоминает лишь подорожник –
всё ещё здесь,
всё ещё – живу.

Здесь, где ветла над рекой повисла,
и до заката спит козодой,
мечется Синее коромысло,
словно душа моя – над водой,
рвётся к чужим берегам далёким,
к белым пескам и седым морям,
только на привязи – тенью лёгкой –
здесь, где в полнеба горит заря,
где в камышах да в сухой осоке
новые гнёзда вьёт тоска.
Берег пологий – берег высокий,
меж берегами река Ока
тихо несёт имена и числа,
и обещает свет и покой.
Мечется Синее коромысло
словно на привязи – над Окой.

*

Стихи, что переполнены тоской,
бессмысленными кажутся по сути;
Песчинкам надоело б ы т ь песком,
а волны всё несут и всё несут их:
ни голоса, ни взгляда – ни души,
но в каждой спит оборванная жизнь.
Приходят сны – к туманам и к дождям,
несбыточные сны на грани яви.
Уснула здесь,
а пробудилась т а м –
в отчаяньи:
Господь меня оставил...

О, эти вожделенные миры –
как будто от лукавого дары.
Душа блуждает в сумраке одна
и ищет след,
засыпанный песками,
и чёрная тяжёлая луна
её пленит и в бездну увлекает,
она уйдёт, но вспомнит, уходя:
такие сны к туманам и к дождям.
Такие сны разгадывать нельзя,
лишь принимать как дань,
как данность свыше,
чтоб ждать
и жить, по лезвию скользя,
и слышать тех, кого давно не слышат...
О, голоса из мира забытья –
глоточек сурьи – древнего питья.
Такие сны – пропущенный урок,
смотри – и не пытайся разгадать их,
и не ропщи, что сир и одинок –
утешься тем, что одинок Создатель.
Будь рукописью на его столе,
не собирай сокровищ не земле.
И только лишь тогда к тебе придёт
осознанное постиженье мига,
и кто-то эту рукопись прочтёт,
и рукопись на полку встанет книгой.
И книгу снимут с полки, уходя,
когда туман сгустится до дождя...

*

День отражается в окне...
Летит, сюжет опережая,
стихотворение во мне,
и дни и ночи отражая.
И кто-то в сутолоке дня
вдруг скажет: стоп; не так уж плохи
дела,
и тем спасёт меня
от суеты и суматохи,
и от зеркал, что всё дwoят
и множат сонмы отражений...
О, вечнодействующий яд
ветхозаветных искушений:
вкусив от яблок Гесперид,
замедлить времени скольжение,
но кто-то мудрый говорит,
что наша жизнь и есть движенье:
и цвет, и колос, и плоды,
и листопады, и метели,
прощальный вздох и плеск воды,
и ангелы у колыбели.
Смятение, господи, во гнев
пускай не будет – виновата...
День отражается в огне
неповторимого заката,
в вечерней зыбкой тишине
и в мнимом призрачном покое,
день отражается во мне,
и я машу, машу рукою,

и там – на дальних берегах –
мне машет женщина чужая...
и отражается в стихах,
моё молчанье отражая.

*

Мне хочется кричать...
Но я молчу.
Не слышно вопиющего в пустыне.
Безумен мир,
безжалостен и чужд,
а боль – она своя, она остынет.
О, мне и боль была бы по плечу,
когда бы я кричала.
Но молчу.
Лихие дни огнём обожжены,
тысячелетьем стало лихолетье,
и пишется четвёртый год войны,
хлеща наотмашь ненавистью-плетью.
Куда бежать, к священнику,
к врачу?
Мне хочется кричать,
но я молчу.
Летит, летит над миром вороньё,
добычу рвёт кровавыми кусками,
и, может быть, молчание моё
со мной умрёт и превратится в камень:
я столько на душе их волочу,
что впору закричать.
Но я молчу.

Не сдвинуть камень и не обойти –
стоит себе в невидимом остроге,
свернёшь направо – не найдёшь пути,
свернёшь налево – не найдёшь дороги,
и только прямо – только по прямой –
лежит неблизкий долгий путь домой.

Но это после.

А пока ничуть,
не легче ни от левых – ни от правых,
лежит за камнем в белых росах Чудь,
дремучие леса
и в пояс травы.

Тот камень станет плахой палачу.

Мне хочется кричать.

Молчу.

Молчу...

*

И всего-то надо, чтобы вода
говорила со мной на одном языке,
и давно угаданная звезда
до рассвета спала в руке.
Ни брехни собачьей – ни воронья,
там, где травы Полудницей обожжены,
лишь играет русалочья чешуя
в белом свете полной луны.
Слыть бы птицей певчею – навеселе,
да к закату ближе печален взгляд:
не вода седьмая на киселе –
журавли по небу летят.

А к рассвету ближе – слова... слова,
в пояс травы и ничего оприч:
перелёт-трава и разрыв-трава
и лихая трава-тирлич.
Там, где снятся земле довоенные сны.
Там, где травы снарядами обожжены,
А над ними горняя высь да синь,
а за ними терем в бору густом,
Арысь-поле мечется: плачет сын,
и сидят на крыльце златом
королевич, царевич,
король да царь
и живут по Прави,
и всё как встарь...
На земных путях веси да города,
и небесных путей никому не счесть,
и для каждого светит своя звезда,
и у каждого Слово есть.
И всего-то надо, чтобы вода
рассказала земле, что она – жива,
чтобы вкус апрельского талого льда
сохранила полынь-трава.
Там, где луны полны,
а пули – шальны,
там, где травы Полудницей обожжены,
там, где громкое эхо у тишины,
снятся эти вещие сны.

Говорить без слов, без опасения быть непонятым, молчать и говорить, говорить, говорить, можно только с морем.

С кем, если не с ним.

Морю зимнему – упрятанному в ледовый панцирь, рассказывать, что до весны осталось совсем немного, и слышать, как море в ответ вздыхает шумно и печально. От визга и скрипа ледового панциря становится страшно, одолевают сомнения: а вдруг весна никогда не наступит.

Морю весеннему – обманчиво-ласковому, холодному и розовому, напевать о зацветающих яблонях, вишнях и абрикосах в пробуждающихся садах.

Морю летнему – рассветному, сонному и ленивому, шептать о коротких ночах и полных лунах и покачиваться на волнах, и плыть по лунной дорожке к другому берегу, где на белом жемчужном песке в огромной раковине спит маленький рачок-отшельник.

Морю осеннему – остывающему, обволакивающему негой и теплом, кричать о неверии в скорые холода, заплывая далеко-далеко, словно лето и не кончалось, и потом идти босиком вдоль кромки прибоя и слушать голос осеннего моря, успокаивающий: октябрь – не повод и не время впадать в зимнюю спячку и отчаяние. Октябрь – время полётов и странствий.

ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО

Сплести венок из цветущих одуванчиков, сделать фотографию на память и рассматривать её зимой, когда бесснежье и бесстишьё сжимаются тесным кольцом удушья, согреться и дышать.

Но я разучилась плести венки. Напрасная затея.

Венок увянет, его бросят под ноги и забудут, и меня и его.

Меня, пожалуй, раньше.

Ещё не поздно сделать вино из одуванчиков и стылыми зимними днями по глоточку – не спеша – цедить солнечный майский день, спасаясь от бесснежья и бесстишьё.

Но я не смогу поверить, что мутная беспокойная жидкость в бутле станет янтарной и игристой.

Я разучилась верить и ждать.

*

НА КРАЮ

Научи меня быть вечерней рекой,
течь и верить: каждому – да по вере
отмеряет и щедрой даёт рукой
тот, кто сам и вода и река, и берег.
Научи меня быть огнём и землёй,
лёгким облаком – тайного вздоха легче,
укажи мне затерянный путь домой,
на восток, где зарёй окоём расцвечен.

Научи меня мудрости просто жить.
Я, усвоив основы твоей науки,
перестану загадывать и спешить,
и приму все утраты и все разлуки,
и однажды поверю, что смерти нет,
воспарив и свободно и облегчённо,
и увижу, как горний исходит свет
от приговорённых и обречённых.
Научи меня жить... как в последний день,
чтоб уснуть на краю и проснуться с краю,
чтоб от яблони – яблоком в свет и в тень,
где вечернее солнце в траве играет,
и припомнится: зарев, земля, огонь
и журавль над серым срубом колодца,
и – под утро – в распахнутую ладонь
вожделенное яблоко-жизнь сорвётся...

*

Одуванчики – такая игра.
Перелётный ветер вздохнёт: пора –
обрываются, не прощаясь
и вернуться не обещая,
и летят, не ведая, кто предаст,
и не ведая о преданиях,
пролетают... господи, – в сотый раз –
Привокзальную с поездами,
где клубятся дымные вечера,
суетливые рдеют будни.
Одуванчики – такая игра,
победителей в ней не будет.

Будет лето.
Будет неблизким путь.
Будет день и ночь
что есть силы дуть
перелётный ветер – обманщик.
Где твой дом, скажи, одуванчик?
Серебрится след вечерней росы,
и заря – от края до края,
подростают солнечные часы
и судьбу по солнцу сверяют,
и лишь только ветер вздохнёт: лети..., –
распрощаются с колыбелью
и взлетят, чтоб где-то на полпути
одуванчиковой метелью
промелькнуть и кануть в небытие.
Это просто игра такая.
Там – в далёком солнечном забытьё –
золотые стрелки стекают.
Там, где месяц май,
там, где месяц юн,
там, где дремлет ветер-обманщик,
босоногой девочкой я стою,
поднеся к губам одуванчик.
Осторожно выдохну: нам пора,
отпущу миллионы судеб.
Одуванчики – такая игра,
проигравшего в ней... не судят.

*

Жизнь малиной недоспелой
облетит с куста,
вряд ли мы с тобой успеем
досчитать до ста.
Прядку русую не жалко –
выгорит, сгорит.
Помнишь детскую считалку,
ну же:
раз, два, три...
Долго я тебя искала –
страшно потерять.
Что ж,
лиха беда начало –
три, четыре, пять...
И расходится кругами
время и штормит,
и насвистывает гаммы
кто-то: до, ре..ми
А теперь другие ритмы –
вырос крысолов,
затаился в лабиринтах
проходных дворов.
Но знакомая до боли
дудочка поёт
и уводит за собою
в тёмный переход.
Съела ржавчина качели –
комната пуста.
Мы с тобою не успели
досчитать до ста.

Как открывшаяся ранка –
старое кино,
во дворе на Молдаванке
низкое окно.
Ход часов вода живая
повернёт назад:
ночью старые трамваи
в Дюковский летят.
И неясно – то ли едет –
то ли вслед летит
на большом велосипеде
мальчик лет шести.
Опалит дыханьем жарким
время жизни прядь...
Вот и кончилась считалка.
Где тебя искать...

*

Ты привыкаешь к дождям под пятницу –
к самым любимым моим привычкам,
к старому дому, где время пятится,
и поездов слышна перекличка.
К запаху трав – резеды и дягиля,
что обволакивает ночами...
К этой бесхитростной дачной магии
в чашке густого – как память – чая.
К богом забытым вишнёвым саженцам,
что подрастают в саду украдкой...
Дикая вишня потом окажется
на удивление – сладкой-сладкой.

Только б зима не случилась лютая,
и на тепло весна не скупилась,
только б не к сроку свеча задутая,
снова зажглась.

Чтобы божья милость
нас не оставила окончательно,
чтобы мы жили, как давним летом,
в старой избе за семью печатями
из неокрепших вишнёвых веток.
Чтобы в пруду отражалось облако
и открывались к утру кувшинки,
чтобы все беды и страхи – побоку,
и ни души...

И одна тропинка.

Хочешь направо – где гул платформенный,
хочешь налево – где спеют вишни...

Так и слагается эта формула
жизни и смерти

и новой жизни,
и под диктовку дождя незваного
я вывожу её на бумаге,
перечисляю все знаки заново:
лето, дожди, резеда и дягиль...

Ты улыбнёшься: «...да это матрица»,
и опоздавши на электричку,
сразу привыкнешь к дождям под пятницу –
к самым любимым моим привычкам.

*

Побудь со мной,
поговори со мной,
постой тихонько за моей спиной,
за окнами осенний дождь стеной,
в который раз без нас отчалил Ной.
В который раз кочующий ковчег
уплыл искать надежду и ночлег
туда, где осиянный свет и твердь,
масличная обещанная ветвь –
свидетельство, что где-то есть земля
для жизни лучшей и счастливой, для...
А в нашем доме – печь
и жар в золе,
и рукопись на маленьком столе,
и нам опять судьбу перешивать,
донашивать свой век и доживать,
не ведая, что нас давно уж нет...
Есть бабочки, летящие на свет,
есть сумеречный законный след,
в печи огонь и на стене портрет:
твой профиль,
солнце и
проём дверной...
Теперь здесь только мгла и дождь стеной.
Слились земля и небо,
мир иной,
предел небесный и предел земной.
Я у окна,
ты за моей спиной...
В который раз без нас отчалил Ной.

Никто не знает, сколько зим и лет
нам коротать вдвоём,
пока нас нет.
Есть бабочки, летящие на свет,
есть серебристый сумеречный след,
и дождь осенний за окном – стеной,
и трепет тонких крыльев за спиной...
Ни паруса у дома – ни руля,
на сотни вёрст – плавучая земля.

*

Если всё покажется пустым –
поднимайся выше,
чтоб увидеть тёмные мосты
и седые крыши,
а над ними синий-синий дым,
на реку похожий.
Если всё покажется пустым,
кто тебе поможет...
Кто заварит вересковый чай,
испечёт оладий,
мимоходом – будто невзначай
волосы пригладит,
занавесит пологом кровать,
сон из тайны выткав,
и на ключ не станет замыкать
старую калитку.
И впотьмах, затеплив у икон
старую лампаду,
выпьет одиночество легко –
чашу с древним ядом.

В задремавший с вечера очаг
хвороста подбросит
и, коснувшись невзначай плеча,
ни о чём не спросит,
и разбудит рано-поутру,
соберёт котомку,
а когда дожди следы сотрут,
станет нитью тонкой –
памяткой, скользящею впотьмах
за тобой повсюду,
ворохом исписанных бумаг,
битою посудой,
строчками невыдуманных книг,
утренней звездой...
Кто тебе позволит хоть на миг
стать самим собою.
...и хватило б нескольких минут
краденого счастья,
чтоб листком к щеке твоей прильнуть
и навек остаться
Ангелом-хранителем твоим,
снов цветных осколком...
...кто тебе споёт про синий дым,
если я умолкну...

ЗА КАДРОМ

Становится тесно.

Вот-вот сомкнёт неизжитое ледяные свои ладони и отнимет возможность дышать.

Станешь дышать вполсилы – с опаской.

Ступать осторожно – в полшага.

И жить вприглядку, не замечая всего, что режет взгляд.

Просто мудро жить...

Сбросив ярмо прежних привязанностей, страхов и обид, поймёшь, что вырос.

Так вырастают из детской одежды и обуви.

Жаль расставаться – было уютно – но они стали безнадёжно малы.

Кто-то выбросит.

Кто-то, расчётливый и прагматичный – продаст ближнему со скидкой.

Кто-то просто отдаст. Не из желания приодеть нуждающегося.

Скорее, из острой необходимости свободного пространства.

Кто-то выстирает, выгладит и сложит аккуратной стопкой, если есть ещё куда складывать.

Если осталось ещё место в шкафу, открывая который, будешь заглядывать на самую дальнюю полочку и вздыхать облегчённо и свободно – пережила.

Но однажды, рассматривая чужие воспоминания о чужом празднике, придуманным тобой, почувствуешь мягкую кошачью лапку прежних обид.

Стряхнёшь её – как наваждение, как фантом.

Она исчезнет, чтобы вернуться посреди ночи и выпустить острые стальные коготки.

Вырастаем из прежних привязанностей, страхов и обид, из прежних отношений и «любовей», убеждая себя, что всё в прошлом, что всё пережито и осмыслено.

Но, бог мой, что делать с этими фантомными «кошачьими лапками» в средостенье, от которых темно и тесно.

Не снаружи, нет.

Изнутри.

*

ДО ТРЕТЬЕГО НЕБА

Помирать – так тихо и без паники,

воспарить над болью бытия,

где кнуты и их обратка – пряники
мальчиков находят для битья.

Где давно чужому богу молятся,
позабыв о том, что свой – внутри... .

Вспоминая буквицы глаголицы,
на восходе утренней зари,

всё принять, и кару и возмездие,
и когда душа оставит плоть,
пальцы сами лягут в двоеперстие –
в тёмную крамольную щепоть.

*

Мой листопад – теплее ноября.
Он листвовай,
он – листогон,
он – ловчий.
Там сброшенные листья говорят,
и я им что-то отвечаю... молча,
и долго палым золотом шуршу,
отогреваю пальцы и пишу
о том, что воды сделались сухи,
о том, что льдистый дождь похож на бисер.
Ты улыбнёшься – снова за стихи,
а я, признаться, прозы ждал и писем.
Но даже листопаду не дано
вспять повернуть судьбы веретено.
Летели письма –
вспомнить бы к кому –
опавшие стихи вослед летели,
судилось ли хоть одному письму
до адресата долететь, до цели...
Стихи – по сути – письма в никуда,
от них темнеет памяти вода,
я верю слов слепым поводырям,
и всё ж... не доверяю нояблям.

*

Из детства повеяло запахом хлеба
и домом,
и дымом и сладким и горьким,
окажется былью вся детская небыль,
умчатся салазки по катанке-горке
туда, где над речкою вьюга-позёмка
змеится, клубится, как будто живая,
и первый ледок осторожный и тонкий
собой укрывает.
Салазки с разбегу уходят под воду,
и я пробуждаюсь от маминой песни,
где каждое слово родного извода:
кресало, Креслава, кресать и воскреснуть...
...от запаха дыма, от запаха хлеба...
Дорожкой знакомой – по катанке-горке
на старых салазках из тёмной каморки
туда, где вся быль превращается в небыль –
до третьего неба.

*

В вихре берёзово-берестяном
память кружила меж явью и сном.

...я для тебя не жалею тепла,
видишь – приветлива, видишь, светла, –
в грусти не я виновата,
просто тепла маловато.

...я же тебя приглашала вчера
до ледостава – всю ночь – до утра
в поле водить хороводы
и заговаривать воды.
Перешепчи заговоры сама,
да поспеши, у порога зима.

Листьев серебряных полный ушат
наколдовал лиственной-листопад.

Ну же, голубка, зачем нам тоска?
в жизни и смерти, как в черновиках,
дождь заштрихует пробелы,
что же ты так оробела?
Память расщедрилась – видно, к снегам,
и позолоту бросала к ногам,
и серебра не жалела
и от восторга хмелела.

Утром хватилась – пуста калита,
скованы льдом золотые уста.

*

День безмятежен и весел,
можно свободно парить,
старая мойра Лахесис
видно забыла про нить.
Путь и далёк и не к спеху,
только судьбу не избыть –
в птичьем гнезде под застрехой
дедовской старой избы

девять голов желторотых,
девять горластых птенцов...
Кто-то откроет ворота,
отодвигая засов.
Лишь веревка проскрипела
на перекрестных ветрах,
девушка привидится тело,
лёгкий послышится шаг.
Встретишься с пряхой седою
и позабудешь про мойр,
Доля, а может, Недоля
скажет: пора и домой.
То суета – то морока,
тяжко усталой душе,
что ж ты, как птица-сорока
падка на всякую мшель.
Глянет сурово: не жалко
беглых шутов да шутих,
приостановится прялка
лишь на мгновенье – на миг.
И невзирая, что нежить
где-то в подпечье скулит,
взглядом одним перережет
ставшую тоненькой нить.

*

Чай с молоком – заморская забава.
А бабушка заваривала травы,
забеливала каплей молока
и добавляла старого медка.
Он растекался в травяном настое,
и беды отступали прочь – пустое,
и хворь любая исцелялась вмиг;
Шалфей, чабрец, пяток сосновых игл,
цветы красавки – редкая отравка...
Чай с молоком – заморская забава.
В моём ни чая нет – ни молока.
Трава полынь – летуча и горька,
кошачьей мяты листья да коренья,
И одолень-трава,
цветок забвенья,
что прорастает в старицах речных,
где жители избушек лубяных
живут по-ра,
по-ра и помирают,
и красный угол в избах прорубают,
как пращурь их делали допрежь.
Но не заполнить чаем эту брешь.
И берег левый, он же – берег правый
от куполов пылает златоглавых:
а я меж ними – в серединном рву
ищу свою русалочью траву,
утерянную водную лилею,
и верю, что сыщу и уцелею;
...по-ра живу...

*

Библейская трава горька и незабвенна.
Летит полынный дух и сушит кровь и вены
тому, кто раз вкусил от горечи её.
Снега не заметут,
и ливень не зальёт.
Библейская трава, откуда память эта?
В соцветиях седых, в сплетенье дымных веток
не то успенья свет,
не то забвенья лёд
тревожит и зовёт,
тревожит и зовёт.
Библейская трава горька и бесприютна,
но источает жар, который за минуту
сожжёт тебя, дотла всего испепелив;
на миг припомнишь дом в густой тени олив,
и смуглое плечо,
и взгляд тревожной лани...
Ты – стар. Ты обречён, снедаемый желаньем.
Ты – как надсмотрщик зол,
как мытарь – пьян и скуп:
Испить бы только раз от этих тёмных губ,
от этих диких скул, от щиколоток тонких,
от девственной груди...
Но старцу, как ребёнку,
согревшемуся меж телами ависаг,
приснится листопад в неведомых лесах,
пригрезится полёт опавшего листка,
познавшего, что смерть прекрасна и легка.

Рванётся прочь душа – из немощного тела,
чтоб где-то, не спеша, с листвою облетелой
очнуться, чуть дыша,
в заброшенном дворе...
Там, где трава емшан
дымится на заре.

*

Окончилось время странствий,
на убыль пошла луна,
что знает о постоянстве
туманная пелена?
В ней солнце поспешно прячет
последний осенний день,
в ней кто-то тихонько плачет
и мечется чья-то тень,
что раньше легко умела
прощаться и всем прощать,
но крест из омелы белой
давно сменила праща.
Становятся дни веками,
взбивает волна шугу,
а тень собирает камни-боглазы
на берегу.
А ей бы – да восвояси
уйти, отрясая прах...
От слухов и разногласий
спасенье найти в стихах

и, верно, отчасти – в прозе,
где рифмы меж строк скользят;
а воздух над морем розов,
как тысячу лет назад.

Скандальные попрошайки
из рук вырывают снедь –
безжалостны птицы чайки,
да стоит ли тень жалеть...

И осенью и зимою
молчит она об одном:
о синем бескрайнем море,
забывшемся зимним сном.

А где-то – за облаками –
рождается новый день,
в нём будут праща и камень
и крест, и чужая тень.

*

Околоточек мой, околица,
девять яблонек – на версту,
девять лучников – вражья конница,
стрел у каждого полон тул.

А под старшим конь в расписном седле,
старший лучник собой пригож.

На роду написано: тленом тлеть,
пропадай, душа, ни за грош.

Он зелёному змию молится,
и зелёным змием повит...

Околоточек мой, околица,
сонных пажитей аксамит.

Сбросит вершника в землю зяблую,
перекусит конь удила,
по весне молодую яблоней
прорастёт ворожья стрела.
Сушит тёмную кровь верховица,
бел да зелен от яблок дол.
Околоточек мой, околица,
всё из яблонек частокол.

*

Загляни в моё зеркало
и листай
отражения, как страницы,
и увидишь, как отстают от стай
перелётные сиринок-птицы.
Как покорно складывают с утра,
опалённые ночью крылья,
забывая язык воды и трав,
и ковыля и чернобыля.
Как вдали от яблоневых долин,
от дремучих глухих урочищ,
чертят пёрышком журавлиный клин
и дорогу себе пророчат
в светозарный зарев – от зимних стуж,
где медов полна восковая сушь,
где у чистой белой криницы
перелётные сиринок-птицы,
окунувши крылья в живой родник,
обращаются в дев печальных,
на берёзу вяжут льняной рушник,
примечая своё начало.

А когда истлеет рушник – летят
в светлый Ирий,
в дивный небесный сад.
Загляни в моё зеркало, коли смел:
вместо сада – тьма непроросших стрел.
И от брани земля дымится,
и от крови темна криница.

*

Окажутся детским лепетом
стихи мои...
боже правый,
в сравнении с тем, что лебеди
зимуют у переправы.
Изящные шеи длинные
доверчиво к людям тянут,
и кажется, что былинные
вот-вот времена настанут.
Заходится сердце в трепете,
ледок неверия тает,
когда на закате лебеди
плывут золотою стаей
по водам, как будто – посуху –
в урочище древних стариц,
где в рубище ветхом, с посохом
навстречу выходит старец...
Все злобные камни нелюди
рассыплются в складках пазух,
несут меня гуси-лебеди
на крыльях любимых сказок.

И слышится речь родимая,
и близится третье небо.
Дорогою лебединою
за стайей пора и мне бы.
Забывать о зубовном скрежете,
о тенях луны кровавой,
и помнить лишь то, что лебеди
зимуют у переправы.

ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Расставание с рукописями всегда болезненно.

Расстаёшься с частичкой себя.

Выпадает листок, сложенный вдвое.

В самом начале строка, не ставшая стихами.

Дальше – обычная дневниковая зарисовка, оканчивающаяся стихами.

О яблонях, конечно.

О чём ещё, как не о них.

О море, разве что.

О городе, с которым срослась.

О людях, которые могут выпасть из «записной книжки» после долгого отсутствия.

Вырванные листки лучше выбрасывать сразу.

Либо не вырывать вовсе.

Бывает, что листки выпадают сами, а потом сами находятяся.

Такие они преподносят сюрпризы, старые записные книжки.

*

Дикий чёрный шиповник, цветущие яблони и ни души.

Снегопад.

И цветут одичавшие яблони, согревая друг друга.

*

На этом разъезде скорый поезд всегда замедляет ход.

Замедлил и теперь, как тридцать лет назад.

Дом тогда сиял свежевывмытыми стёклами окон, из печной трубы вился дымок, воротколодца, крытого щепой, вращала молодая женщина в цветастом платке, наброшенном поверх длинного – до пят – одеяния.

Мело, как метёт сейчас.

Казалось, что деревья парят, что яблоневый цвет опадает на мёрзлую землю.

Теперь здесь ни колодца, ни женщины.

На миг показалось: не яблони мёрзнут в заброшенном саду, ангелы.

По весне земля усыпана лепестками.

По осени – яблоками.

Яблоки падают в никуда. Самые смелые прорастают по весне.

Шумит молодая поросль – дичка, дикуша – плоды её мелковаты и горьки, но аромат... Но цветы.

На розово-белое благоуханье слетаются дикие пчёлы.

В раскидистых кронах выют гнёзда птицы.

Пройдёт ещё лет тридцать – и ничто не напомнит здесь о людях – всё порастёт быльём.

А я и на том свете буду тосковать о цветущих яблонях, мимо которых езжу всю жизнь.

Или мимо жизни?

*

Тоненький след карандашный
в книжке живёт записной –
сон срифмовался вчерашний
с давней холодной весной.

С домом в далёкой деревне –
в богом забытой глуши,
где на цветущих деревьях –
снег –
а вокруг ни души.

Старый разъезд у опушки,
дикий шиповник и сад...

Отогревая друг дружку,
яблони тихо парят.

Память неспешно листая,
годы и вёрсты стряхнув,
я из окна наблюдаю
юную эту весну,
в воспоминаниях зябну,
словно по снегу иду
там, где парят вместо яблонь
ангелы в старом саду.

Что ж...

В роковом поединке
на смерть замёрзнуть не грех.
Где-то в российской глубинке
медленно падает снег
и обещает спасение
тем, кто отцвёл и... замёрз
в давнюю пору весеннюю –
где-то за тысячу вёрст.

*

Уже стихам потерян счёт,
уже потерян счёт потерям,
из рукописей сложен терем,
а слово просится ещё...
И льнёт к бумаге и к руке,
как одичавшая собака,
и хочется вздыхать и плакать
над ним в укромном уголке.
И, приручая, повторять, –
так, нарекая, шепчут имя, –
запоминать, считать своим и
ронять, разменивать, терять...
Поддерживая разговор,
бессмысленный и беспредметный,
раздваиваться незаметно,
отсеивая сюр и сор,
уединения искать,
и одиночеством спастись,
к тетради по ночам бросаться,
чтобы писать, писать, писать...
Хотя стихам потерян счёт,
и смысл давным-давно потерян,
в меня – как видно – кто-то верит,
коль слово просится ещё.

ПОЛЕТЕЛИ...

– Полетели!

Голос за окном показался знакомым.

Чашка выскользнула из рук.

– Четвёртая любимая чашка... Была.

– Четвёртая любимая? А ещё есть?

– Две из шести, подаренных когда-то. Первая разбилась в тот же день. И их стало пять. Как и должно быть.

– О чём жалеть... Полетели.

Она сидела на самом краешке оконного откоса и грызла большое зелёное яблоко.

– Ты Карлсон?

– Я – ангел.

Ни лика, ни белых одежд, ни крыльев. На оконном откосе сидела обычная девочка с косичками и рассматривала меня и мою кухню, продолжая аппетитно хрустеть яблоком.

– Если ты ангел, то должна летать. Где же крылья?

– Во мне. И снаружи. Я и есть то, что ты называешь

«крылья».

До меня дошло, что она висит в воздухе рядом с оконным откосом.

– Сплю. Понятно...

– Нет, не спишь.

И она запустила огрызком – всё, что осталось от большого зелёного яблока, которым я собиралась позавтракать, – в любопытную серую ворону.

– Не сплю, – согласилась я. – Просто схожу с ума.

– Прекрасно! Полетели скорей... Битый час тебя упрашиваю. Так и опоздать недолго.

– У меня только любимые чашки летают... а я не умею. Крыльев нет.

– Каких ещё крыльев...

– Как у птиц. И у ангелов.

– Ангелам крылья не нужны. Ты когда пишешь стихи, машешь крыльями?

– Нет.

– Но ведь летаешь...

– Я?

– Ты. Ещё три минуты, и они проснутся. Хочешь увидеть, как открываются почки на липе.

– Хочу.

– Полетели.

На полу краснели осколки четвертой любимой чашки.

В утреннем сумраке над старой липой парила странная девочка, чем-то похожая на меня.

*

Покачиваясь тенью зыбкой
над суетой земных таможен,
мы разглядим свои ошибки,
да жаль... исправить их не сможем.

Мы все погрязли в разговорах
на виражах и поворотах,
и побеждаем в глупых спорах
не то себя,
не то кого-то...

Перемешают светотени
весенние метаморфозы,
кому-то не хватает денег,
кому-то – общего наркоза,
и абсолютно всем – участия
и слов простых,
и добрых взглядов,
и человеческого счастья,
что ходит-бродит где-то рядом.
А приглядишься – нет, не наше –
да и на счастье не похоже,
и снова день тоской окрашен,
и снова суета таможен...

Но все пути ведут из Рима
в приморский город, что не вечен,
где тенью ангельской незримой
окутывает летний вечер
родные окна, двор родимый...
Здесь снова Моцарта играют.
И сизые колечки дыма
у старого сарая тают...
Не ври нам, прошлое, не ври нам,
в помине нет того сарая...
И все пути не в Рим – из Рима,
и нас Господь не повторяет.

*

Ни прощаний не ждать,
ни прощений,
не менять на покои – покой,
и в весеннюю ночь берещенья
прислоняться к берёзе щекой.
Рассказав о грехах своих дольних,
слушать тихий живительный дождь,
звон берёзовых струн белоствольных –
тонконогих берёзовых роц.
И не в шутку –
на полном серьёзе,
в бледном свете неполной луны
породниться душой с берёзой
и почувствовать горечь весны,
и вымаливать боль возвращения,
хоть...казалось бы – где ни ложись...
Берещенье идёт,
берещенье –
бродит в венах берёзовых жизнь.
Памятуя о сказочных росах,
с давней горечью наедине,
здесь – вдали – к одинокой берёзе
прислоняюсь и я по весне,
избавляюсь от тлена и плена,
оставляя лишь самую суть:
отворить тонкокожую вену
и как в детстве – устами прильнуть.

И каких тебе надо отмищений,
благодати и веры какой...
Прислониться в канун берещенья
к одинокой берёзе щекой.

Ирисы

Всё когда-нибудь проходит:
верь судьбе – не верь судьбе,
ты мне пишешь о погоде,
и ни слова о себе.
Зарядили на неделю
то туманы – то дожди,
неужели, неужели
нет просвета впереди...
Земляника отцветает,
скоро смолкнут соловьи –
ты мне пишешь – я читаю
письма длинные твои.
Все слова перерастают
в полнолуние в траву,
ты мне пишешь,
я читаю,
ты мне пишешь,
я живу.
Между строк – вода живая,
между строк – люблю и жду;
Время ирисы срывает
в старом мамином саду.

По ночам перелетают
тени их через порог...
Ты мне пишешь –
я читаю,
всё читаю между строк.
Ты мне пишешь –
слово в слово –
повторяя мой ответ:
Где-то в сумерках лиловых
спрятан ирисовый след.
Там, где старые качели
отрываясь от земли,
прямо к ирисам летели,
там, где ирисы цвели.
Наши ирисы цвели...

*

Как быстро мы с тобою выросли
из мятных сумерек лиловых,
где май раскачивает ирисы,
и каждый – богом поцелован.
Где дни безоблачные длинные,
и не о чем вздыхать ночами,
и птица-иволга в малиннике
поёт о будущих печалях.
Из старого журнала вырезан
цветной фонарик, что не светит...
А май раскачивает ирисы
и обещает всё на свете.

Все страхи и печали – побоку,
и сарафан из ситца смётан,
в лиловом ирисовом облаке
живёт предчувствие полёта
в ненастный день – сырой и ветренный,
когда сбежавший кофе вылив,
ты выйдешь в сад – на свет серебряный
дрожащих ирисовых крыльев.
Поймёшь, что мы из жизни выросли, –
никто лететь не запрещает...
туда, где май качает ирисы
и ничего не обещает.

*

Не станет ни стихов – ни песен,
останется лишь тихий свет,
и вечер будет им согрет,
и сумрак окна занавесит.
Но наша дверь – ушком игольным
прольёт сегодняшний закат,
и отзвук старой колокольни –
на ней ко всеобщей звонят.
Перебирая звуки ночи,
прислушиваясь к тишине,
внимаю голосам пророчеств,
что снисходительны ко мне,
и окружают ореолом
от слов распухшую тетрадь,
увещевая выживать –
живой казаться и весёлой.

Но думать только о полёте...
Но всюду видеть только ...дно.
Зовущее окно напротив, –
не так уж важно, чьё оно,
а важно, что неяркий свет
дневного ближе и теплее,
и я решусь – сомнений нет,
чем чёрт не шутит – уцелею,
иль сделаюсь ушком игольным,
и сквозь меня пройдёт закат...
...рассвет – на старой колокольне
опять к заутрене звонят,
и полдень ждёт на повороте.
С плиты сбегает молоко...
Зовущее окно напротив
продето в сонное ушко,
а следом день – и сер и тесен –
и выхода иного нет –
идти на зов стихов и песен,
на их неяркий тихий свет.

*

Стихи не проходят бесследно...
Морщины у глаз и у рта
как тени путей заповедных
туда, где бела и чиста
бумага...
где было свеченье
и жар и внезапный озноб,
и вещее словотечение,
и рваные доли синкоп.

На воду шепчи, на лекарство —
не справишься с этой бедой,
хоть царство сули,
хоть полцарства,
коня без узды иль с уздой...
С неожиданною этой напастью
не сладить,
не остановить,
привычно немеет запястье —
дрожит стихотворная нить.
Все беды твои, все победы
ничто перед ниточкой той...
Стихи не проходят бесследно,
забыты и сон и покой,
отвергнута жизнь и забыта,
ты только тогда и живёшь,
пока над тетрадью раскрытой
тончайшую ниточку вьёшь.
Совьёшь и бесплотный и бледный
гадаешь: закат иль рассвет...
Стихи не проходят бесследно,
и тянется... тянется след.

*

Чем измеряется жизнь?

Морем, чайками, лавандой и розами, дождями
и снегопадами. Стихами и прозой, улыбками,
письмами и звонками друзей, городами и
деревенскими просёлочными дорогами, окнами,
в которых горит свет, тёплым хлебом, верным
плечом, молчанием...

Сколько всего этого было у меня – не сосчитать.
Сколько будет ещё.

Ещё немного, и яхта с синим кливером появится из-за старой заброшенной буны, как появляется уже несколько лет подряд – день в день, час в час.

Время загадывать желание, одно – и самое заветное – яхта под синим парусом исполняет только такие желания.

О ЧЁМ МОЛЧАТ СТАРЫЕ КАМНИ

Молодые камни молчат от осознания собственной важности и ценности: их шлифовали, декорировали, наносили нужный слой времени и пудрили пылью для налёта древности, тон в тон картинке в путеводителе.

Молодые камни столь же заносчивы, сколь и смешны: странная миссия, служить фоном для фотосессий легковерных туристов.

Камни благообразны, приличны, воспитаны электрокаменотёсами, отшлифованы до нужной гладкости, исключительно для того, чтобы в них поверили.

И в них верят. Верят шероховатостям и неровностям, особенно там, где они не сильно пригнаны друг к дружке, с небольшим зазором.

Зазор, между тем, прочен и тоже внушает доверие.

Камни же напоминают что-то гладенькое...

Рекламный проспект фирмы: Еврозаборы.

Они респектабельны. За ними легко и спокойно.

И камни спокойны. Они нужны. Они востребованы. Они приносят хороший доход. Случись что, их подправят, подлечат, подкрасят. Чтобы вид был товарный.

Старые камни молчат невдалеке – в двух шагах от молодых и востребованных, и изредка между.

Старая кладка служит основой, остовом для молодых крикунов.

Она темнее и морщинистее, она тяжелее даже там, где солнечный свет согревает холодную поверхность, испещрённую ветрами и временем.

Молчание старых камней разносится над днестровскими солёными водами, им незачем говорить, они давно превратились в слова. В Слово.

Здесь, в двух шагах от шумных молодых камней, в молчании камней старых можно расслышать: “...Тира... Тира... Мы были им. Мы им будем. Придёт время и прекрасная Бортэ-фуджин возродится в своей пра-пра-пра-правнучке и положит начало новой ветви рода Темучина...”

Вслушиваюсь.

Поток времени настигает меня за воротами крепости, на одном из холмов, где спит улица древнего города Тира, несёт над солёными водами Днестровского лимана в Горькую Долину, в Аджидер, который был разрушен когда-то, но дух его вот уже более двух столетий живёт в городе Овидиополь.

Меньше ли горечи, – говорю, – меньше ли утрат, легче ли жить в городе, названном в честь забытого римского поэта Овидия?

– Нет, – вздыхают здешние камни в ответ. – Не меньше.

Ветер подхватывает их вздох и возвращает меня к развалинам древней Тире.

– Странно всё, – говорю, – странно...

Драгоценное прошлое попирается тучными стадами туристов, идущих на крики молодых камней, к торжищу, мимо истинных Слов. И ширится Горькая Долина по здешней прекрасной земле, уставшей от войн и подмен.

Стою на краю древнего города Тира. Тень моя сливается с тенью неизвестного деревца, растущего из прошлого, из камней, которые были улицами и домами Тиры. Которые молчат, потому что давно всё сказали.

Которые – само Время и само Слово.

*

Кап-ля по кап-ле
го-ре кап-лет,
пе-ре-пол-не-на Пан-ти-ка-па
ре-ка, что тек-ла дав-но ког-да-то
у под-но-жия Мит-ри-да-та...
На узких улочках тихо-тихо:
молчит золотая кифара Феба.
Кап-ля за кап-лей
кап-лет ли-хо.
Пан-ти-ка-па
впа-да-ет в не-бо...
Опрокинулась чаша терпения,
переполненная мытарствами,
над ру-и-на-ми Пан-ти-ка-пе-я,
над уснувшим Боспорским царством.
Кап-ля за кап-лей
го-ре кап-лет,
пе-ре-пол-не-на Пан-ти-ка-па

Суждено голубым лагунам
век от века полниться горем,
багроветь под пятою гуннов,
уповая: здесь будет море.
Но ковыль, растущий на камнях,
помнит песню летящих копий,
отыскавших цель, что искали,
на пожизненных этих копях.
Не впервой плясать на крови нам...
Только в этом и преуспели.
И молчат седые руины
золотого Пантикапея
обо всём, что было когда-то,
обо всём, что будет когда-то
у подножия Митридата,
где течёт река Пантикапа.
Кап-ля за кап-лей
вре-мя кап-лет,
в сердце впа-да-ет
Пан-ти-ка-па...

ЧТО-НИБУДЬ ПО-ЦЫГАНСКИ...

Из августовского тихого вечера проступило воспоминание, похожее на картину, тёмную, тяжёлую от влаги, ещё сырую, неосторожно и поспешно содранную с подрамника.

Запах холста и красок смешался с запахом дыма и стерни.

Классический сюжет: закат над сжатым полем, просёлочная дорога, костёр в едва различимой дали.

Выплыла на миг из тумана цыганская кибитка, старинная, украшенная бусинами и бахромой, обитая бархатом колыбелька, и спящий в ней ребёнок: смуглые щёчки с ямочками, тень от длинных ресниц, яркая погремушка в пухлой ручке.

Полоса тумана расслоилась, расстелилась, цепляясь за ощетинившуюся стерню, то повисая ключьями, то проваливаясь в неглубокую темноту – к земле; острый травяной запах усилился: ещё вчера здесь росли подсолнухи, а ночью их сжали. И те, которые поспели, и те, которые только-только узнали, как ходить посолонь. Ни единого лепестка ещё не упало с ярко-жёлтых головушек на длинных гибких стеблях. И нежная пыльца ещё не облетела с агрусовой сердцевины соцветий-корзиночек.

Сжали всё.

Теперь до весны земля будет отдыхать, а может и под зиму что посеется ушлым хозяином-землевладельцем.

Тихо. Темно. Только лай собачий доносится откуда-то издалёка, да цикады поют рядом – под ногами, и от пения их воздух звенит и дрожит, как натянутая струна.

Дорогу скрыл туман, упрятал в молочно-белое горьковатое марево, лишь костёр разгорается сильнее, и алое цветистое пятно ближе и ближе. Уже слышен треск сухостоя, уже видны искры, взлетающие высоко и исчезающие в неизвестности над туманной завесой.

Кто-то невидимый подбрасывает сухие ветки в костёр.

Может, рачительный хозяин сжигает сушь после уборки урожая на огороде.

Но в такой вечер не хочется житейской обыденности, напрочь лишённой фантазии.

И туман расстарался зря, что ли...

Вот и думается о цыганской кибитке, о стреноженных гнедых конях, пасущихся неподалёку, у развалин, где прибрежные кусты терновника на краю обрыва, сплошь усыпаны дымчатыми бледно-голубыми ягодами; меж ними проглядывает мелкая тёмно-синяя ягодка на розовых хвостиках, а ниже – шипастые дебри ежевики, одичавшей без хозяйской руки, но всё ещё щедро отдающей ярко-алые ягоды свои любому, кто отважится сорвать их.

Желающих нет. Красуются ягоды, радуют взгляд.

Разве только всеми забытая и покинутая гипсовая девочка, умница-отличница, с книгой в аккуратных ручках, с корзиночкой кос на аккуратной головке, сходит иногда со своего невысокого пьедестала полакомиться сочной ягодкой и – назад, на место, чтобы никто не заметил. У неё и по поведению “отлично”, можно в табель не заглядывать.

Да и заглядывать некому. Гипсовая девочка-умница из давнего прошлого, когда такие скульптуры стояли в парках, скверах и других местах общественных гуляний.

Здесь, видимо, когда-то была библиотека. Или лекторий. Или просто школа.

Теперь ничего этого нет, осталась только гипсовая девочка, выкрашенная “под бронзу” и ставшая ещё более беспомощной и покинутой от этой бронзовой фальши.

Давно ушёл последний человек читающий, и след его заметён здешними ветрами и нерадивыми дворниками.

Ушёл он просёлочной дорогой, на которой сейчас стоим мы, ушёл вслед за птичьей стаей, летящей над стернёй, над узкой полоской тумана. Обернувшись на прощание, увидел луну над морем, траву полынь и нежный пух отцветающего чертополоха, что вот-вот сорвётся следом, забыв о скорой осени, о кочевье, о крове и тепле.

....

– Цыгане. Как есть – цыгане. Знаешь что-нибудь по-цыгански?

– Конечно. Ай-нэ-нэ.

ЕЩЁ ОДНА КОНЧАЕТСЯ ТЕТРАДЬ

А кто-то из вас ещё пишет по старинке, на бумаге?

В тетрадях, блокнотах, записных книжках.

Понятие “черновик” давно уже стало архаикой. Атавизмом.

И правда. Что зря бумагу переводить.

Всё в word-е. И жизнь, и слёзы, и любовь.

Но я не успела в новое время.

Для меня только рукопись живая.

Дышит. Говорит.

Набираю, как правило, окончательный вариант.

От первоначального до него – расстояние в несколько дней, месяцев, а то и лет, и в несколько исчерканных страниц тетради.

Говорю с записанным, или услышанным. Правлю.

Разговор бывает долгим, резким, непростым.

Говорить можно с книгами, домами и улицами, птицами, растениями, морем... котами, птицами и собаками. С фотографиями и рисунками. Скамьями. И, конечно, с рукописью, с черновиком. И лишь иногда с человеком, если такой человек в жизни случится. Бла-бла-бла всякое не в счёт. С человеком можно говорить и без слов.

С word-ом как-то не очень у меня получается. Не те разговоры, и не о том.

Как не получается писать на “изнанке” чужих распечаток.

Даже в целях экономии.

Чистая, якобы, изнаночная сторона, на самом деле уже занята. И далеко не чиста.

Это, скорее, из невербального и тактильного.

Из области тараканьей. В моём случае “тмутараканьей”.

Сын, получив расчёт в одном из книжных магазинов(это, слава богу, было давно) в том же магазине купил мне в подарок две тетради. Стоят на полке. Ждут.

И я уже, вроде, обязана их заполнить.

Та, в которой пишу сейчас, кончается.

Ей не так много, всего три года.

Жаль. Хорошая была тетрадочка. Легко в ней писалось и жилось.

*

Безмолвие морских глубин
ещё печальней под луною,
но этот берег мной любим,
но этот мол намолен мною,
как эта полная луна,
как смысл, увязший в междустрочиях...
Волнений и тревог полна,
все бранные дела отсрочив,
умолкну: время для камней,
для прирастания поклажи,
для рукописей – им в огне –
гореть, и никаких поблажек.

Не возжелавши зла врагу,
запомнив скоротечность мига,
ещё на этом берегу
сошью рассыпанную книгу,
пусть по словам – не по делам –
и воздаётся и даётся,
и грезятся не купола,
а Млечный путь со дна колодца,
где я по-прежнему учусь
не предаваться мелкотемью,
сквозь полноту и свежесть чувств
брести потусторонней тенью
на тихий зов морских глубин
и вещей снов на грани яви,
по городу, что мной любим –
его немислимо оставить, –
здесь явь трудна,
здесь сны легки,
здесь берег, как алтарь – намолен,
и – всем законам вопреки –
шипы и розы пахнут морем.

РАВНОВЕСИЕ

Вселенским Весам снится равновесие.

Забываясь в дремотной неге,
огромные чаши встречаются и на миг замирают.

Чаша радости не помнит о печали.

Чаша печали забыла о радости.

Что знает Вселенная о моей радости, о моей
печали...

Всё и ничего.

Вселенским Весам снится равновесие.

Люди раскачивают Весы и мечтают о равновесии, не зная, что без печалей и радостей
настанет небытие.

Безвременье. Покой.

Вселенским Весам снится равновесие.

Плеснут радости – чаша взмывает вверх.

Плеснут печали – тяжело опускается.

Моя радость –

солнечная капля на огромной чаше Вселенских
Весов,

Светлый Понедельник, дикая яблонька в цвету,
мерное жужжание пчёл и шмелей,

море, яхта, самолёт в облаках, закат над городом.

Но уже завтра чаша печали и скорби уплывёт
вниз, унесёт меня за собой, и я забуду о радости...

*

В больничных коридорах время течёт по другим законам, неподвластным тем, что снаружи. Ещё одно русло времени, реальность, сотканная из множества разных жизней и судеб, пересекающихся здесь, в длинном гулком, бесцветном пространстве, переливающихся одна в другую, но никогда не смешивающихся.

У каждого своя беда, своя боль. Своя судьба.

Все вместе в коридорном русле. И – одновременно – каждый в своём.

Границы здешние прозрачны, и старые стены не спасают от звуков внешнего мира.

Здесь всё, как там: невероятное ослепительное февральское солнце, тяжёлая огромная луна, деревья в больничном парке, скамейки, птицы, коты... люди. Почти всё, как там, за стенами.

Выйдя отсюда, люди смешиваются с людьми снаружи, растворяются в зряшной крикливой суете, именуемой жизнью, не подозревающей, что совсем рядом есть другая жизнь. Другие люди. Несущие бремя забот, тревог и волнений, спешащие, с решимостью и надеждой во взглядах. Отчаявшиеся, с безвольно опущенными плечами. Смирившиеся с тем, что именуется странным словом... судьба. В нём отзвук суда, того самого, высшего, который вершится по иным законам, непонятным и непостижимым, и потому, к счастью, недостижимым для здешних обитателей, уверенных в своей исключительности, правоте и праве, в своих акцентах и приоритетах.

На самом же деле здесь ни у кого никаких прав нет, в какие одежды ни рядись, как своё тельце ни лелей, в какие течения не впадай.

Ешь мясо или не ешь, кури или не кури, пей водочку или водичку... Всё это не имеет значения на весах, на чаше которых когда-нибудь замрёт обнажённая, испуганная твоя душа.

Только любовь имеет вес и значение там.

Здесь, где всё искажено и придумано и рассказано людьми для других людей, ради наживы, потехи, алчбы... ради власти, о любви забыли. Разучились любить. Что остаётся, когда изверился, когда устал идти вслепую, наугад. Как правильно... куда правильно...?

Спрашиваю вполголоса.

Слишком много ответов, умных и абсолютно бесполезных и бестолковых, как высмоктанные из пустоты пустотообразовательные статьи о том, как надо и как правильно быть.

Правильно так, как веришь. Как чувствуешь.

*

Все мои дороги ведут к морю.

Грунтовые, вдоль обочины широких асфальтированных шоссе и автострад, булыжные мостовые, выложенные камешек к камешку, узкие тропинки, петляющие в тени акаций и зарослей чертополоха, и тропинки другие, в лесной чаще, усыпанные сухими сосновыми иглами и старой слежавшейся листвой.

Дорожка, разделяющая огромный школьный сад на вишнёвый – слева, и на яблоневого – справа, ведущая к родительскому дому.

И уводящая от него.

Они мои, эти дороги, и каждая ведёт и неизменно приводит, сколько себя помню, к морю. Где бы меня ни носило, какие бы неотложные дела ни уводили в сторону, отвлекая от главного и не терпящего отлагательств занятия: жить, я неизменно оказывалась у моря.

Всё повторялось в тысячный раз: чайки, камни, песок, люди. И только море не повторялось никогда. И никогда не повторится. Таким оно было сегодня.

*

В моём сегодняшнем сне шёл снег.

Белые хлопья проступали из ожившего сонного сумрака, и в нём же растворялись, исчезая бесследно. Прилетали новые хлопья и так же, кружась, исчезали. От снежной круговерти кружилась голова, но на душе становилось легко и празднично: казалось, ещё немного, и я, перемешавшись с хлопьями, воспарю над двором, над сонной безлюдной улицей, над городом, над собой, спящей и ни о чём не подозревающей, сделаю несколько кругов над морем и исчезну бесследно, как исчезают эти странные снежные хлопья: оживают на миг и уносятся в небытие, подхваченные нездешним неземным ветром.

Присмотревшись, я увидела, что некоторые хлопья продолжали кружить над городом: потусторонний ветер был не властен над ними. Хлопья летели на восток, к морю, темнели налету и росли, у них появлялись крылья. В утренних сумерках уже можно было разглядеть чаек, кружащихся над побережьем, и людей, любителей ранних прогулок. Мне были хорошо видны их лица, освещённые восходящим солнцем, их улыбки, их радостные взгляды. Люди кормили чаек и преобразались.

Замечали ли они своё преобразование, чувствовали ли перемены, происходящие в них и с ними?

Мне не раз приходилось видеть наяву, как у моря с человеческих лиц сползала пелена забот и тревог, и оживали тусклые равнодушные взгляды. Люди, кормящие чаек на побережье, были красивы и светлы. Наверное, именно такими и задумывал нас Господь, когда творил. Осознаём ли мы свою изначальную суть, помним ли себя настоящих, без наносного слоя, без масок и личин, которые прирастают к нам. Сколько раз я ошибалась, принимая личину за лицо и даже за лик, а когда истинная сущность проступала сквозь напомаженное благообразие, отшатывалась в ужасе. Да и меня многие представляли (и представляют) иной, возлагали надежды... Кто радужные, кто меркантильные. Но есть, к счастью, те, кому от меня ничего не надо. Как и мне от них. Достаточно знать, что они здоровы и счастливы.

Говорят, что если не можешь пожалеть, или простить человека, надо представить его совсем маленьким, ребёнком. Если не получается, значит надо уходить от такого человека. На деле всё обстоит иначе: мы впускаем в свой дом, в свой мир, в свою душу разных «чужих», и сами же потом страдаем, когда приходится изгонять, рвать по живому, с кровью, с частичкой себя. За напускнуой и наносной взрослостью, за масками и личинами можно рассмотреть вчерашних мальчиков и девочек, и многих из них действительно жаль. Как жаль всех детей, приходящих в этот мир, доверяющих ему до первого пореза о действительность; она жестока и беспощадна, и всегда с рваными острыми краями.

...откуда-то возникла еловая лапа с шишками, заснеженная, огромная, освещённая невидимым мне солнцем, с голубоватыми длинными тенями от игл...

Неосторожно взмахнув рукой (или крылом?), я прикрыла глаза, и в то же мгновение столп снежной искрящейся пыли обрушился на меня.

Проснулась и подошла к окну. Часы показывали половину четвёртого утра.

Шёл снег. Я уже знала – это сбывается мой сегодняшний сон: начинается день, в котором будет снегопад, море, чайки и люди, кормящие их, заснеженные деревья и солнце.

Косматое зимнее солнце над сонным ленивым морем.

*

Ещё днём всё было обычным и обыденным, и ничего не предвещало чуда.

Но что-то неуловимо изменилось там – за окнами, в осенних сумерках.

Растекались странные белёсые дождевики, похожие на капли молока.

Сумерки светлели и густели.

Дождь перерождался в снег.

Звуки машин, летящих по булыжной мостовой, детские голоса, трамвай в Лютеранском переулке, звенящий на повороте, колокольный звон Спасо-Преображенского Собора, тревожная сирена кареты «неотложки»...

Всё по-другому виделось и слышалось и происходило в чернильно-молочной сумеречной густоте.

Уличный фонарь в доме напротив оказался фонарём волшебным.

Высвечивая небольшую лестничку, ажурную кованую решётку, пятнистую мокрую стену с остатками плюща, он притягивает в ореол свечения огромные снежные хлопья, и они летят на свет, кружат и не спешат падать.

Первый снег – как первая любовь. Несвоевременен, чист, недолговечен. Он захватывает всё обозримое и необозримое пространство, он внутри и снаружи, он обещает, что всерьёз и надолго, что навсегда, и сам верит своим обещаниям.

Вот он нежно укрывает золотистую маленькую розу во дворе, старательно выбеливает зелёную ещё листву на деревьях, крыши соседних домов, дорожку, исчезающую в тёмном провале подъезда.

Я ему верю. Мне хочется, чтобы он шёл всю ночь и весь день.

Чтобы замело дороги, деревья, дома. Память и боль.

Чтобы утром выйти из дому и осознать, что сказка продолжается.

Но сказка к утру, обычно – кончается – снег растает.

Останется горделивая золотистая роза с потемневшими от холодной влаги лепестками, влажные тёмные пятна на дорожке и стене, и запах молодых зелёных яблок, кружащий голову, волнующий, нежный и тонкий.

Запах первого снега.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В огромной прозрачной вазе на моём окне спят камни-боглазы – куриные боги.

Большие и маленькие, молодые и старые.

Вчера я опустила в вазу новый боглаз.

Молодой камешек коснулся лика старого камня.

– Что со мной будет?

– Исполнишь желание и останешься здесь.

Спать.

– Но я не хочу...

Старый боглаз усмехнулся.

– Чего же ты хочешь?

– Чтобы меня носили на руке. Или на шее. А ещё лучше – отпустили. Вернули туда, где я вырос. К воде. К огромному камню.

– Это несбыточная мечта всех боглазов, – вздохнул старый камень.

– Почему? Мы ведь исполняем желания людей. Значит, и они могут исполнить наши мечты и желания.

– Могут те, кто умеет слышать. Таких немного. Для остальных мы просто камни.

...чья-то невидимая рука листает снова и снова книгу, в которой я только строка, или всего лишь – слово...

Молодой боглаз вздрогнул.

– Что это?

– Человеческий голос.
– Люди говорят не так и не о том...
– Это другой голос...
– Значит, нас слышат, и наши желания исполнятся.

– Спи. Все желания исполняются во сне.
...в начатой кем-то давным-давно повести или саге: лето, открытое в ночь окно, скомканный лист бумаги...

Молодой месяц гнался за уходящей ночью.
Вздрагивали виноградные листья.
Где-то совсем близко прокричал скорый поезд.
Огромная ваза прозрачного стекла на окне была до края наполнена боглазами. Спящими куриными богами, исполнившими мои желания.

Разбуженная тихими голосами, я подошла к окну, аккуратно переложив камешки в сумку, отправилась к морю и у серого камня отпустила на волю.

Первая же волна унесла их на глубину – набираться сил и расти для исполнения чьих-то желаний.

Может, среди них окажется боглаз, который вновь исполнит и моё желание.

Единственное. Заветное: жизнь дорогого мне человека.

...утренний ветер, полуденный зной, сумерек синяя стая, кто-то незримый – волна за волной – море, как книгу листает...

...и отражаются в ней облака, солнечный свет и птицы, я в этой книге – только строка, слово, волна, страница...

p.s.

Выход этой книги стал возможен благодаря Елене Кукловой – актрисе, мастеру художественного слова, моему давнему близкому другу, её постоянному присутствию и участию в моей жизни.

«Друг есть действие. И любовь есть действие. И — память..., — следуя этому цветаевскому правилу, святому и для меня, Елена относится к друзьям.

Признательность моя безгранична.

Ещё мне хочется поблагодарить моих друзей, друзей моей семьи, поддерживающих меня в непростые времена:

Надежда Бесфамильная

Роза и Юрий Бунчики и Александр Фишер

Сергей Главацкий

Вера и Вадим Зубаревы

Наталья Мизури

Анна Розен

Будьте благословенны, дорогие мои.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю	3
ПОТАЁННАЯ ДВЕРЬ. БЕЛЫЙ ШУМ	5
СНОВИДЕНИЯ ГОРОДА О. РОМАН С ГОРОДОМ	20
ТОЛЬКО БЫ МОРЕ ДЫШАЛО У НОГ. ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД	37
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ДЕТСТВА. ЧИТАЕТСЯ АВГУСТ	47
ПРИКОСНОВЕНИЕ ОСЕНИ. ПИСЬМА В НИКУДА	59
ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО. НА КРАЮ	72
ЗА КАДРОМ. ДО ТРЕТЬЕГО НЕБА	81
ИЗ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ	94
ПОЛЕТЕЛИ	98
О ЧЁМ МОЛЧАТ СТАРЫЕ КАМНИ	108
ЧТО-НИБУДЬ ПО-ЦЫГАНСКИ... ..	112
ЕЩЁ ОДНА КОНЧАЕТСЯ ТЕТРАДЬ	115
РАВНОВЕСИЕ	118
Послесловие.....	126

Людмила Шарга

МЕНІ ВИПАВ САД

Російською мовою

Вірші, сторінки з щоденника

Макет та комп'ютерне верстування: С. Главацький

Підписано до друку
Формат 70 x 100^{1/32}. Папір офсетний.
Гарнітура «Times New Roman».
Обл.-вид. . Ум.-друк. арк.
Наклад 100 прим. Зам. №

Видавничий дім Дмитра Бураго

ФОП «Бураго Дмитро Сергійович»
Свідоцтво про внесення до державного реєстру
ДК № 4558 від 05.06.2013 р.
04080, Україна, м. Київ-80, а / с 41
Тел. / факс: (044) 227-38-28, 227-38-48;
e-mail: info@burago.com.ua
www.burago.com.ua